БОРИС ЗАЙЦЕВ

Древо Жизни

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк

БОРИС ЗАЙЦЕВ

Древо Жизни

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИМЕНИ ЧЕХОВА

Нью-Йорк • 1953

COPYRIGHT 1953 BY
CHEKHOV PUBLISHING HOUSE
OF THE EAST EUROPEAN FUND, INC.

PRINTED IN THE U.S.A.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Сын горного инженера Константина Николаевича Зайцева и супруги его Татьяны Васильевны, Б. К. Зайцев родился в Орле 29 января 1881 г. Раннее детство его прошло в селе Усты, Жиздринского уезда Калужской губернии, где отец управлял рудной конторой. В 1898 г. Б. К. окончил Калужское реальное училище, был принят в Императорское Техническое училище в Москве. За участие в студенческих беспорядках 1899 г. был исключен и поступил в Горный Институт в Петербурге. Оттуда, выдержав экзамен по древним языкам, перешел в Московский Университет (на юридический факультет). Но и университета не кончил, занявшись литературой.

В 1901 г. в московской газете «Курьер», где литературным отделом заведывал тогда Леонид Андреев, появился первый его очерк. Рассказ «Волки» (1902 г.) открыл ему путь в журналы. Тогда же вошел он в литературный кружок «Середа» (Андреев, Бунин, Вересаев, Телешов, наездами в Москву Чехов, Горький и др.).

В 1906 г. в издательстве «Шиповник» вышла первая его книжка «Рассказы» — вернее, небольшие поэмы в импрессионистическом роде. Печатался затем в альманахах «Шиповник», главнейших журналах того времени, выпускал книги. В 1913 г. вышел первый его роман «Дальний край», а за ним вновь книги рассказов.

Во время войны жил в имении отца Притыкине, Тульской губ. Каширского уезда — вместе с женой

Верой Алексеевной и дочерью Наталией. В декабре 1916 г. поступил в Александровское Военное училище в Москве. В марте 1917 г. произведен в офицеры. В августе заболел воспалением легких и был отправлен на отдых в Притыкино, где и находился во время Московского вооруженного восстания. До 1921 г. укрывался в деревне, а потом перебрался с семьей в Москву. Там вместе с Бердяевым, Осоргиным проф. Дживелеговым и др. служил в Кооперативной лавке писателей — торговал старыми книгами. Тогда же был избран председателем московского Союза Писателей.

В 1922 г., после тяжкой болезни (сыпной тиф) получил разрешение выехать с семьей заграницу на поправку. Жил в Берлине, Италии. С 1924 г. окончательно поселился в Париже.

В 1922 г. в Берлине, в издательстве З. И. Гржебина вышло собрание сочинений Б. К. в 6 томах («Тихие зори», «Сны», «Усадьба Ланиных», «Земная печаль», «Голубая звезда», «Италия»).

С 1924 г. по 1952 г. появились в зарубежье, кроме вышеуказанных, следующие книги: «Преп. Сергий Радонежский», «Рафаэль», «Дальний Край», «Ул. Св. Николая», «Странное путешествие», «Афон», «Анна», «Золотой узор», «Жизнь Тургенева», «Дом в Пасси», «Путешествие Глеба», «Валаам», «Москва», «Тишина», «Юность», «Жуковский». Некоторые из них были переведены на разные европейские языки. Отдельные рассказы и роман «Дальний Край» — на японский.

В настоящее время Б. К. состоит председателем Парижского Союза писателей и журналистов.

ПОСЛЕДНЯЯ МОСКВА

О, вей попутный ветр,
вей тихими устами
В ветрила кораблей.
Батюшков.

Весна пришла в Прошино как приходила сотни лет, как будет приходить тысячи: в сырых теплых ветрах, половодье, в пестроте обтаявшей земли и снега, в первых фиалочках, в тех запахах апреля, вспоминая о которых можно плакать.

Мать знала всё это и относилась почти равнодушно. Разумеется, была довольна, что зима кончилась: вторая зима полного ее одиночества. Кончилась, ну и слава Богу.

Если б жив был отец, он подходил бы к термометру за окном, следил бы за ветром, неудачно предсказывал бы погоду. Но отец давно покоился на кладбище Поповки, оставив мать наперекор всему обитать в Прошине в лето от Рождества Христова 1922.

С матерью оставались Прасковья Ивановна и Ксана. Их связь с домом шла из глубины времен. Ксана при матери и родилась, и возрастала в длительном к ней почитании, а Прасковья Ивановна длительно готовила в кухне на всю семью: была полна, тиха, покойна, обожала дочь.

Матери шел семьдесят пятый год. Старилась она медленно. Трудно было ее сломить. Войны, революции гремели, близкие умирали, жизнь менялась, мать же со

своей всегдашнею прохладой в прекрасных с молодости глазах, в темно-скромной одежде, опираясь слегка на палку, когда выходила, являла всё тот же, прежний непререкаемый облик, призраком проплывавший над окружающим — всё уже другое, она одна прежняя, для Ксаны — «бабушка» (так впрочем ее многие называли), для взрослых, даже для комиссара Федора Степаныча, которому говорила «ты» — «барыня». Нос ее резче означился тонкой горбинкой, и когда теперь, одинокая и вполне без защиты — ее можно было в любой момент обобрать, выгнать, убить — проходила мать в теплой своей шапке и с палкой мимо амбара, будто амбар ей еще принадлежал, явно напоминала она, особенно в профиль, Данте Алигиери Флорентинца, о котором знала лишь то, что его переводил Глеб (значит, хороший поэт), тут же в Прошине.

И вот теперь, когда весна шла дальше и дальше, уже пообсохло, дрозды весело перелетывали в большом саду и почки тополей у балкона стали разверты-ваться, полные сладкого духа, комиссаров сын Петька, восьми лет, принес ей однажды письмо.

Время было перед вечерним чаем. Мать лежала в столовой на диванчике, накрыв лицо носовым платком. Приняла потомка комиссара милостиво, дала даже кусочек сахару. Он покорно подал ей пенснэ в футляре со стола и удалился.

В окно смотрел тихий вечер, в нежных отсветах заката. Мать прочитала, положила письмо рядом на стул и вновь накрыла лицо платочком. Трудно было сказать, что она чувствует.

Прасковья Ивановна внесла самовар в клубах пара. За ней появилась Ксана. Прасковья Ивановна ни за что не осталась бы с барыней в столовой. Но Ксана, девочка лет двенадцати, медлительная и слегка лимфатическая, оставалась.

Теперь она принесла свою чашку, осторожно села

за стол напротив и сквозь всю скромность свою чувствовала, что «бабушке» с ней всё-таки веселее.

Как прежде, во время войны, при отце, когда Глеб приходил к этому чаю из флигеля, а Элли сидела с маленькой Таней направо, мать села сейчас за самовар. Это ее капитанский мостик. Пока ноги носят и руки служат, пока бьется сердце, она не покинет его, хотя бы корабль шел ко дну. И в этот апрельский вечер, при розово-зеленоватом отсвете из окна — по закатному небу тянулись нежные космы облачков — мать тою же твердой рукой наливала чай Ксане, в ее цветистую чашку.

Когда Ксана налила на блюдечко и дуя на него поднесла к губам, мать сказала:

— Я получила письмо от Глеба, из Москвы.

Ксана подняла на нее бледные, со слегка золотушными веками глаза.

— Они наверно скоро приедут?

Таня была двумя годами моложе ее. Здесь же, в этом Прошине, во время войны и начале революции проходили ее детские годы. Ксана ее обожала.

— Нет, не приедут.

— А как же... в Москве летом жарко.

Она говорила негромко, робко.

— Совсем не приедут?

Мать налила себе в чашку и положила кусочек сахару.

— Глеб пишет, что они уезжают заграницу. Ему разрешили. Он хворал, ему нужно оправиться.

— Надолго уедет?

— Не знаю.

Ксана допила с блюдечка, отодвинула чашку. Смотрела она теперь выше стола, на фотографическую группу в рамке на стене — среди инженеров там сидел моложавый еще и веселого вида отец.

— И Танечка уезжает?

— И Танечка. И тетя Лена. Все.

Мать вздохнула и перевела разговор на школу, на новую учительницу в Поповке, куда ходила Ксана. На уроки. Труднее ли теперь задачи? (Арифметика всегда была бедой для Ксаны. Когда Глеб жил здесь, он спасал ее иногда от курьеров, которые неизвестно где встретятся, или выручал по части бассейна, который неизвестно когда наполнится. Но теперь она была беззащитна).

Мать надела пенснэ и не без строгости на нее поглядела.

— Ты что же это, не слышишь? Почему ты не отвечаешь?

Плечи у Ксаны вдруг дрогнули, она всхлипнула и неловко припала головой к руке «бабушки».

— Я теперь... Танечку... никогда не увижу. И тетю Лену...

Мать всегда считала ее слабой и нервной.

— Перестань, перестань... Как не стыдно. И Таня вернется, и тетя Лена, и Глеб.

Но Ксана продолжала плакать.

— Нет, я уже знаю... бабушка, я уже знаю...

— Ничего ты не знаешь и не изволь хныкать. Неси тетрадки, я подиктую тебе.

Ксана повиновалась. Но не Бог весть что вышло из этой диктовки. Слезы промыли по щекам Ксаны, пухло-бледным, дорожки. Кой-где блестело в них влажное серебро. Голова же плохо работала.

Взяв тетрадку, мать сквозь пенснэ строго посмотрела на ее произведение. Ошибок было достаточно.

— «Хлеб» пишется через ять, сказала она.

Серые, слегка воспаленные глаза Ксаны от слез покраснели. Она была теперь покорна, безучастна. Зачеркнула е, написала ять.

— В школе у нас учат без ять...

— Да, новое правописание... Я забыла. Ну, зачем же ты поправляешь? Если учат так, то и оставь.

Ксана молча взяла ее руку и поцеловала.

— Я хочу так, чтобы тебе нравилось.

Мать улыбнулась.

— Дурочка, дурочка... Я старая. Мало ли что мне нравится. Теперь всё по другому.

Она обняла Ксану и поцеловала в прямой пробор на голове — редкий знак нежности.

— Я скоро умру, а тебе еще долго жить. Ты должна делать как другие.

Ксана подняла на нее глаза. В них было нечто серьезное и несовсем детское.

— Нет, я хочу как ты. Я тебя люблю.

Мать не весьма одобряла чувствительность. Полагала, что это расслабляет, а теперешняя жизнь сурова. Поэтому перевела разговор на арифметику и другие уроки.

Вечер протекал как полагается. Через комнату отца, где стоял всё еще его верстак и на рогах висело ружье, старый патронташ времен Устов и сетка для дичи, мать проходила к себе, что-то разбирала в комнате, вынимала, перетряхивала, выносила в столовую. Что-то штопала и чинила, потом ужинала и раскладывала пасьянс. Теперь отец не мешал ей, не учил стратегии. Из его комнаты шло то же молчание вечности, которое наступило, когда затихли последние его хрипы, два года назад.

Мать раскладывала карты беспрепятственно. Ксана спала в кухне. Прасковья Ивановна также.

— О, Боже мой, Боже мой! вздыхала мать — скрываться было уже не от кого.

Перед тем, как ложиться спать, она вдруг взяла свечку и подошла к окну — взглянуть на термометр. Это делал всегда отец. Нередко она говорила ему: «Не понимаю, для чего это тебе каждый день смотреть на

термометр?». Но сейчас не могла объяснить, для чего это ей самой нужно и почему она это сделала.

***

Зима была нелегка для Элли, но она чувствовала себя бодро. Огромная комната в Кривоарбатском, где посреди помещалась печь, сложенная слепым каменщиком, в этом году обогрелась. Таня в ушастой шапке и валенках ходила в школу. Глеб в литературную кооперацию — работал среди своих. Но хозяйство — на Элли. Дрова, печка — на Элли. Ее быстрые ноги таскали салазки и по Арбату, забредали и дальше: вплоть до родительского дома на Земляном валу, где у Курского вокзала росла она некогда нервной, болезненной девочкой, потом выросла и окрепла, распустилась пышным цветом жизненности и горячности. Как всегда бывает, из родного гнезда ушла. Иногда даже ссорилась с отцом, Геннадием Андреичем (но никогда с матерью), опять мирилась, вновь вскипала гневом и потом таяла в слезах — но теперь многое уже навсегда прошло, жизнь с Глебом сложилась, на Земляном валу положение было признано (как великая держава признает, наконец, после долгих колебаний, вновь возникшее, несовсем подходящее государство).

Глеб бывал там иногда, вполне благополучно. До войны Геннадий Андреич угощал даже его красным вином (Brâne Cantenac, боченки которого выписывал из Бордо).

Кроме Исторического Музея, которым заведывал, нумизматики, где имел европейское имя и сфрагистики — науки о древних печатях, отцом которой для России почитался, любил Геннадий Андреич и литературу.

— Разумеется, не эту современную-с, говорил,

презрительно потряхивая головой, вскидывая пенсне на карие, умные глаза. — А Пушкина...

Пушкина он обожал, как и Петра Великого. (Элли с детства помнила страшную, с выпученными глазами, маску Императора в кабинете отца). Когда бывал в добром настроении, то наливая Глебу за обедом вина, он приговаривал многозначительно и весело:

«Но ты, бордо, подобен другу,
«Который в горе и беде
«Товарищ завсегда, везде
«Готов нам оказать услугу
«Иль тихий разделить досуг.
«Да здравствует бордо, наш друг!».

— да-с, это винцо. Пушкин в нем понимал.

Теперь времена Brâne Cantenac'ов ушли. Дом на Земляном валу, приземистый, с полуподвальным этажом, палисадником на Садовую и садом слева, где рос дубок из жолудя Элли-девочки, дом с бюстом Юпитера при входе, копией Каналетто в зале с роялем и фикусом в кадке, с восковыми слепками монет, медалей, древних печатей в кабинете Геннадия Андреича, был теперь уплотнен. Охранные грамоты Музея охраняли еще некоторые комнаты, в кабинет со слепками не въезжал еще товарищ деревообделочник, но уже корабль дал течь и шел с креном.

Из этого-то давнего гнезда, с Земляного вала на Арбат, по Воронцову полю, мимо Хитрова рынка по Солянке и влекла раз зимой, этой зимой 1922 года, Элли салазки с барахлишком — среди коего целый комод: напрягала в горку молодое еще, резвое тело, когда у Варварских ворот неожиданно встретила отца.

Геннадий Андреич, в мерлушковой черной шапке, в пальто на меху, с бобровым воротником, шел из Исторического Музея, где принимал нынче на хранение архив князя Урусова. Увидев дочь, тащившую, как ему показалось, целый воз, содрогнулся.

— Что же ты извозчика не взяла?

Элли была в запале, усмехнулась лишь. Он нахмурился.

— Нет, так нельзя-с, в гору невозможно одной...

И став рядом, взявшись за бичевку, пошел с ней рядом, помогая тащить.

— Зачем, папа, не надо...

— Нет-с уж в гору одной невозможно. Уж я повезу тоже.

Элли знала характер отца: раз сказал — кончено. И действительно он помог до самого Политехнического Музея.

Но это было одно только из ее странствий, одно из испытаний зимы.

Странствовала она и за дровами, и с Глебом вместе на Воздвиженку за академическим пайком. Зимой возили муку, сахар, бараний бок на салазках, а весна подошла — на деревянной тележке со скрипучими деревянными же колесиками.

Но главное в этой весне была тяжкая болезнь Глеба: та самая, о которой писали матери в Прошино. Эта болезнь, когда тринадцать суток Глеб лежал без памяти, в жару, когда казалось всё было потеряно и только Элли продолжала верить и бороться (в смертный час положила на грудь Глебу икону Николая Чудотворца и к утру он ожил) — болезнь эта и выздоровление стали в семье легендой и рассказывались друзьям долгие годы, всегда волнуя.

Да и как мог не волновать рассказ о полуживом Лазаре, верою и любовию спасенном — никогда потом Элли не жалела свечей Николаю Угоднику, никогда не пропускала служб ему.

В конце апреля Глеб — худой, стриженный наголо, с ощущением обруча, надетого на голову, мог уже выходить. У него появился волчий аппетит. В Москву навезли в это время с севера рябчиков и куропаток

— он съедал в день по куропатке. Вскоре начали хлопоты об отъезде: предприятие, давно занимавшее головы их обоих.

— Мы всего на год, на полтора, говорила Элли, говорила так и на Земляном валу (Геннадий Андреич покачивал головой), так написал Глеб и матери, и они действительно считали, что так вот оно и будет: сядут и уедут, поживут в Берлине, а потом в Италию. Эта Италия, как и в юные годы, виднелась вдали в голубом сиянии и туда вели все пути. Ну, а дальше? Очень просто, всё переменится, можно будет в Москву вернуться.

В начале июня, после месяца хождений, мытарств, Глеб получил, наконец, все бумаги и свидетельства; направляется заграницу в отпуск по расстроенному здоровью.

* * *

Таня раннее свое детство провела в Прошине — во флигель Глеба въехала годовалой девочкой в начале войны, там же и укрывалась с родителями в бурные времена. Пока мирно было, Глеб и Элли нередко уезжали в Москву. Таня оставалась с бабушкой, Прасковьей Ивановной, Ксаной. В десятилетней ее душе иерархия создавалась такая: Ксана приятельница, с ней можно ходить на деревню, летом купаться в речке, петь «Костромушку-Кострому». Прасковья Ивановна полу-друг, полу-прислуга. Элли — мать: особый, хоть и ежедневный, но всегда праздничный мир, шумный и светлый, несколько странный (как и мир отца) — во всяком случае необыкновенный. Здесь нерассуждающая любовь. Бабушка же в своем роде вершина.

Мать могла бурно ласкать, потом вспыхивать, говорить что-нибудь наперекор себе самой и здравому смыслу, волноваться или восторгаться. Бабушка всегда

ровна и покойна. С ней нельзя ни ласкаться, ни ссориться, ни по-своему поступать. Матери можно еще не послушаться. Бабушки невозможно.

Когда Глеб и Элли возвращались из поездок в Москву, бабушка встречала их держа Таню за ручку, и на вопрос как без них было и всё ли благополучно, отвечала:

— Слава Богу, отлично.

Однажды добавила, когда Таня, с болтающимися косичками, тщательно заплетенными, побежала с Ксаной на огород:

— У вас такая дочь, которой вы оба никак не заслужили.

И все трое тогда рассмеялись.

А теперь, этой неуклонно-надвигающейся весной, с каждым днем приближавшей к отъезду, мать однажды, в сопровождении Ксаны, собралась в Москву — предприятие и нелегкое теперь, и даже небезопасное. Но не такова мать, чтобы остановиться, раз решила.

Не в коляске, как в былые времена, а в простой тележке добрались до города Каширы, прославленного вишнями, Окой и пьесой «Каширская старина». По знакомству достали им билеты до Москвы, по знакомству посадили в облепленный мешочниками поезд, а утром на другой день извозчик высадил их на Плющихе, у подъезда Сони Собачки.

Собачка давно уже была замужем, за инженером полу-польского происхождения. Жили они на своей Плющихе в небольшом двухэтажном особнячке, не уплотненном: Мстислав Казимирович был спец, служил в таком советском учреждении, имени коего всё равно не запомнишь — охранная же его грамота была много сильнее, чем на Земляном валу.

Собачка встретила мать и Ксану восторженно: еще

бы, времена Устов, Калуги, да и этой же Москвы, когда она училась еще на фельдшерских...

— Тетечка, дорогая, я так счастлива... ты у меня будешь в отдельной комнате, всё по твоему вкусу. Как скажешь, так и будет... Я хочу, чтобы ты у меня себя как дома чувствовала.

Мать поцеловала ее прохладно-ласково, но правда была довольна. Да и Собачку любила. Та устроила ее в большой, лучшей комнате, рядом с гостиной. Ксана жалась к бабушке, ей полагалось спать тут же, смиренно на кушетке. Так оно всё и вышло. Так и оказалась Ксана невидным охранителем своей «бабушки».

— Ксана, Ксана, ты не робей, говорила Собачка: раз ты с тетечкой, ты мой гость, мой друг.

Ксана с тихим восторгом смотрела на эту веселую, полную женщину с румяными щеками, тискавшую бабушку в объятиях. Но не могла развеять своей сдержанной задумчивости.

А Собачка продолжала хохотать.

— Когда я была девочкой, как ты, Глеб любил, чтобы я кота делала, вот так... — и она сжимала сбоков свежие свои щеки, щурила глаза, что-то кошачье появлялось в ней, правда.

К завтраку пришел Мстислав Казимирович, высокий, бородатый, довольно красивый, и тоже обнимал мать, хотя мало знал ее: по доверию к Собачке. А потом пил какие-то воды, принимал пилюли, волновался, захлебываясь говорил о путешествии Глеба и Элли.

— Вы не беспокойтесь, они отлично доедут, у нас из учреждения многие в Берлин ездят, там всё превосходно устроено, мы в Германии многое закупаем, и меня самого, очень возможно, отправят в приемочной комиссии.

Он воодушевился, закатывал под лоб небольшие, голубые, вечно нервные и тревожные глаза, и всякие главметаллы, северолесы, промторги, как рой неболь-

ших кошмаров, так и летели, пригоршнями, с его языка. Вести общий разговор было невозможно.

— Никому слова не даст сказать, шепнула Собачка матери. Но ничего не поделаешь

Мать была довольно покойна. Еще со времен отца, разных инженеров, толпившихся у них в Людинове и Москве, привыкла она слушать не слушая, думая о другом. Мстислав Казимирович не был ей интересен. Она терпеливо ждала конца завтрака, чтобы идти к Глебу.

— Тетечка, тетечка, говорила Собачка, когда Мстислав Казимирович, выпив последний глоток минеральной воды и с беспокойством взглянув на себя в зеркало (всегда казалось ему, что заболевает), уехал в свой главметалл.

— Оставайся у нас подольше. Отдохни. Они уезжают в пятницу, а ты поживи здесь недельку-другую, да вообще сколько понравится.

— Нет, нет, спасибо. Мы послезавтра трогаемся.

Почему именно послезавтра, Собачка не знала. Подумала: до отъезда Глеба на вокзал. Но помня с детства характер «тетечки», не настаивала.

**
*

Родители Элли держались на Земляном валу прочно, Глебову мать Собачка звала жить к себе в Москву (но та ни за что не хотела бросать Прошина), во всяком случае Глебу Собачка поклялась, именем детской дружбы и любви ко всему их дому, что «в случае чего» тетечку не оставит и перевезет к себе.

Глеб и Элли считали (или обманывали себя, бессознательно), что уезжают на год, полтора. Тяжело расставаться, но они оставляют близких устроенными, покидают их временно.

Для Глеба, однако, во всем этом был один слабый пункт: хорошо, мать остается в условиях неплохих, но... мог ли бы он пожертвовать для нее своей деятельностью, свободой?

Вспоминая впоследствии не раз это время, Глеб лишний раз уверялся, что тогда его несла неодолимая сила, ему надо было *жить*, осуществлять то, для чего он пришел в этот мир — это главное, и этого нельзя было здесь сделать. Значит... что могло его остановить? И он, и Элли летели сейчас безудержно, как бы не по своей воле — он не спрашивал, кому от этого больно.

Мать держалась покойно. С любопытством рассматривала огромную комнату Глеба со сложенною слепым печкой. Поцеловала Элли приветливее чем раньше — о болезни Глеба всё знала уже подробно («*она* выходила его, нечего говорить»).

Прощаясь, негромко сказала ей:

— *Там* его берегите. Ну, Господь с вами.

Ксана во всем подражала здесь «бабушке»: тоже не плакала, накануне отъезда ушла только с Таней на Никитский бульвар. Там сидели они довольно долго. О чем разговаривали — неведомо. Вернулись бледненькие с холодными ручками.

— Я тебе из Берлина сейчас же напишу, сказала Таня, когда вечером Ксана с «бабушкой» уходили к Собачке (завтра утром уж уезжали).

Таня была серьезна, она сейчас взрослая и всё понимает.

Глеб рано утром ушел на Плющиху к Собачке провожать мать. И видение матери на извозчике, медленно отъезжавшем от ворот дома, матери всё в той же шляпе со страусовым пером, с Ксаною рядом — они махали ему платочками и скрылись за углом переулка... — вот это видение навсегда в нем осталось: будто не прошлое, а всегда есть, не уехала мать, а уезжает, и

где бы Глеб ни был, что бы ни делал и как бы ни жил, мать со страусовым пером всегда уезжает в вечность.

А дома был уже полный разгром. Через два дня и сами трогались. Эти два дня Элли носилась по Москве, целовалась и плакала со своей матерью, сестрами, одним раздаривала остатки вещей, другие приносили чемоданы, примеривая, как бы удобнее укладываться. Шкура медведя с огромной головой и стеклянными глазами, убитого еще отцом в Устах, служившая им ковром, отправилась кончать дни свои к знакомому доктору. Шкаф — к сестре Анне, Глебов письменный стол к приятелю.

Накануне отъезда Геннадий Андреич, кончив занятия в Музее, нанял извозчика в Кривоарбатский. Извозчик вез его по знакомой Воздвиженке, чрез Арбатскую Площадь, Арбатом. Было почти жарко. Но на всякий случай Геннадий Андреич надел пальто, на голове теплая шляпа, из под брюк рыжеватые голенища сапог, внизу ярко начищенных.

— Да, да, четвертый номер, вот тут и остановись, товарищ-извозчик, тут вот и остановись...

Чтобы не ошибиться в мелочи вынимая из кошелька, надел пенснэ тем же привычным жестом, каким вскидывал его на нос в Историческом Музее, когда какой-нибудь мещанин приносил монету, утверждая, что она древняя.

Расплатившись, медленно стал подыматься во второй этаж, к Глебу и Элли.

Огромная комната их являла вид довольно-таки ужасный — незапертые чемоданы, всё разбросано, беспорядок полнейший. И Глеб и Элли в изнеможении. Таня сидела на подоконнике — ее сейчас должны были отправить к Собачке, чтобы хоть немного дать спокойствия.

Элли бросилась и обняла Геннадия Андреича.

— Вот чудно! Папа!

— Да-с, заехал повидать перед отъездом. Ну, как вы?

Сняв пенснэ, улыбнувшись, протянул Глебу руку очень приветливо.

— Слава Богу, Геннадий Андреич. Устали, конечно, но завтра всё кончится — едем.

— Понимаю-с. После болезни надобно вам отдохнуть. Вы такой стали худой, и вот стриженый-с, я не совсем еще к вам привык.

Подошла Таня. Он к ней наклонился, ласково поцеловал.

— Ну, а ты рада ехать?

— Я с мамой, папой...

— Тебе тут было плохо?

— Не-ет... я в школе даже очень интересно училась.

Геннадий Андреич засмеялся.

— Довольно-таки дипломатический ответ.

Таня не совсем поняла, что значит «дипломатический» — отчасти смутилась, но не чувствовала осуждения, скорее обратное. Дедушку Геннадия Андреича знала она мало, но он ей нравился, и со своими книгами на Земляном валу, монетами, медалями казался даже особенным, на других непохожим. В нем было для нее нечто почти загадочное.

Сейчас она была смущена беспорядком в комнате (всё-таки такой важный посетитель! Вроде генерала.). И отступив тихонько на задний план, за папу и маму, незаметным образом положила подушку на место и заперла чемодан.

«Радость моя», шепнула матери: «эту картонку можно поставить на шкаф, так будет лучше».

Косички ее деловито покачивались и весь вид — спокойной, толковой девочки очень русского типа — как бы говорил: если б *она* уезжала, никогда бы такого кавардака не было.

— Да, да, Танечка, я сейчас... Ах, может быть папе чаю? Вон там чайник, Таня, спроси хозяев, есть ли у них кипяток? Тогда я сейчас заварю... чай, кажется, там остался, в коробочке... Ах, нет, он не в коробочке, а вон в той баночке...

Но Геннадий Андреич отказался решительно. Не время, не место. Не привык он пить чай в этакой сумятохе (так он подумал, но выразился иначе).

Глеб придвинул ему уцелевшее кресло, Геннадий Андреич расположился удобно, посидел полчаса, расспрашивал, как именно едут, когда будут в Риге, Берлине.

— И в Италию собираетесь?

— В Италию у меня даже виза есть, отвечал Глеб.

— Так-с, так-с. Хорошее дело. Я, когда молод был... мы с Агнессой Ивановной тоже в Италии были, даже до Неаполя доезжали... но не при таких обстоятельствах как вы теперь. Меня там интересовали некоторые монеты из Сицилии... И тогда в Неаполе находился в научной командировке профессор Цветаев, основатель музея Александра Третьего. Давно было — конец семидесятых годов.

— Вот хорошо бы, папа, если б ты и теперь собрался туда, сказала Элли. — Знаешь, устрой себе научную командировку, возьми маму, вот бы чудно во Флоренции встретиться...

Геннадий Андреич всегда считал Элли отчаянной головушкой. «Фантазерка... впрочем, и муж у нее такой же. Только более тихий».

Он надел пенснэ, посмотрел на нее почти строго.

— Времена не те-с. Нет, голубчик, мы во Флоренции не встретимся.

Потом встал, вынул из жилетного кармана небольшой предмет, тщательно завернутый в мягкую бумажку. Протянул его Тане.

— Это старинный образок, твоей прабабушки. Ни-

колай Чудотворец. Береги его, ты девочка умная и основательная. Будешь молиться, вспоминай дедушку. А когда вырастешь, передашь своим детям. Вот так и будет хорошо.

Элли и Глебу он подарил по золотому империалу.

— Для усиления эмиграционного фонда — сказал, улыбнувшись. Ну, а теперь прощайте.

Элли обняла его и заплакала.

— Папа, мы увидимся... скоро, в Италии.

Он ее перекрестил.

— Нет, мой друг. Господь вас храни. В этой жизни мы больше никогда не увидимся.

***

Два извозчика везли их через всю Москву — два вековечных извозчика московских, на невидных лошаденках, трусцой, погромыхивая железными шинами по булыжной мостовой, направляя неторопливый бег от краев Арбата, по Воздвиженкам, Лубянкам, Сретенкам к Сухаревой и Виндавскому вокзалу. Вещи, чемоданы, картонки подрагивали на толчках, извозчики понукали лошаденок и всё это странствие напоминало путь двух баркасов, нагруженных добром, увозящих во время наводнения подтопленную семью.

На вокзале встретили их сестра Анна, Соня Собачка да несколько друзей. Носильщики, всё еще в белых фартуках, как и в юности Глеба, подхватили их чемоданы, на тележке повезли к вагону дальнего следования: «Москва-Себеж». Первый класс, отдельное купэ. Еще Россия, но какой-то уже новый мир, иной воздух — как бывает, что в окно доносит запах дождя, которого еще не видно.

— Глеб, Глеб, ты за тетечку не беспокойся, я ее

в обиду не дам, а если что — сейчас же к себе возьму... Я и навестить ее съезжу, и она к нам приедет... Ну, с Богом! Элличка, дорогая, обнимаю тебя, пишите! Таня, Христос с тобой! Расти.

Сестра Анна — высокая, с огромными глазами луиниевской Мадонны, мать многочисленной семьи, сдержанная и строгая, крепко обняла Элли. Глаза ее были влажны, но собою она владела.

— Ну вот, ну вот... Елена, в добрый путь.

Добрый путь начался в назначенную минуту. Вагон дрогнул и платформа с остающимися, в солнечном июньском дне поплыла назад, не уходя из Москвы. А Глеб, Элли и Таня, из окна махавшие идущим по платформе и тоже махавшими, медленно, но всё же убыстряя ход, отдалялись от Москвы. Москва шла еще за ними будками, семафорами, водокачками, потом пригородами, но когда они кончились, лишь голубой ветер полей российских стал веять над уходящим.

ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ

Некогда Геннадий Андреич учился в Коммерческом училище, носил фуражку с темнозеленым околышем. Его отец, Андрей Тихоныч, был уверен, что хотя Геннадий слишком пристрастился к книгам, всё же отлично поведет кожевенное дело, тут же на Земляном валу основанное дедом, выходцем из земли Владимирской, Егором Колесниковым.

Но не так вышло. Андрей Тихоныч рано скончался, много раньше чем думал. Геннадий Андреич рано женился, рано стал обладателем всех средств, доходов дела — мог свободно теперь изучать любимое: историю, археологию. Это сидело в нем крепко.

Вскоре женился на Агнессе Шмидт, юной барышне из московско-немецкого коммерческого мирка. Мать Агнессы была итальянка, жена известного русского художника времен Гоголя. Он изобразил ее некогда в виде вакханки, в венке из виноградных листьев. В Агнессе ничего не было вакхического, но глаза ее сияли бледной синевой редкостной чистоты, нечто эмалевое было в их ласковом, приветливом блеске: являлся он и отражением ее далекой родины. Весь ее характер, доброта, некоторая восторженность и сентиментальность, ранняя полнота, плодовитость — всё отвечало московско-германо-итальянскому корню.

Кожевенное дело на Земляном валу понемногу заглохло. Появился Исторический Музей, где Геннадий Андреич получил место по сердцу.

Элли девочкой помнила еще кожевенные склады на дворе, но при ней приказчиков, живших тут же, в полуподвальном этаже, не гоняли уже ко всенощной в церковь Ильи Пророка, через улицу, и не запирали на ночь («чтобы не ходили в город баловать»). А другие остатки прежнего сохранились: старая прислуга, приживалки, повар Иван Лукич, как всегда повара тех времен — пьяница.

Жива была еще и бабушка Ульяна Семеновна, занимала флигель во дворе. Некогда была она красива и дородна. Так дородна и так неподвижна, что знаменитый московский врач, талант и самодур, невозбранно грубивший купцам и бравший огромные деньги, сказал ей однажды: «Если будете так есть и неподвижно жить, кончите кондрашкой».

Полакомившись сам особыми конфетами, которые ему выставляли, он уехал, Андрей же Тихоныч и она сама не обратили на слова его никакого внимания. Как же так меньше есть? Иван Лукич обидится: у Потаповых повар берет цельный ростбиф, у Евстигнеевых тоже, чем же Колесниковы хуже? И неужели Ульяне Семеновне ходить к Илье Пророку пешком, как простой мещанке, когда есть пара вороных, летом пролетка, зимой сани с синей сеткой, и — хотя церковь всего в ста шагах — всё же приличней Колесниковой подъезжать на своих лошадях.

Этих лошадей, сани с синей сеткой тоже отлично помнила Элли. Когда кучер возвращался, отвезши бабушку, то сестер-девочек Анну, Лину и Элли возил он катать по Воронцову полю около дома Вогау: вот, мол, у Колесниковых тоже хоть куда лошади.

Всё же знаменитый доктор не ошибся. Ульяну Семеновну рано разбил паралич и она несколько лет прожила в своем флигеле во дворе — еще не старая, прежде почти красавица, ныне жалкая туша, которую двор-

ники подымали и переворачивали, перекладывали на простынях.

Но ее несчастная жизнь шла как бы на окраине колесниковского бытия и с ее уходом исчез последний след давнего.

Анна училась в гимназии, Элли в пансионе Виноградской и вместе с сестрой Линой играла в детском оркестре Эрарского — Элли на цитре, Лина на рояле.

У Агнессы Ивановны был абонемент в Симфоническом: музыку она очень любила. По вечерам — духовитая, в нарядном платье с турнюром, сияя эмалевыми глазами и бриллиантовой брошкою со стрелой, крестя и целуя детей на ночь, уезжала она слушать Рубинштейна (а Элли, по нервности своей, часто не могла заснуть без нее, томилась и плакала. Ей казалось, что мать погибла и никогда не вернется, мерещились ужасы вплоть до минуты, когда та же пара вороных в санях высаживала у подъезда Агнессу Ивановну. Через несколько минут по комнате проплывало чудесное для Элли шуршание шелка и ручей духов. Мать снова ее целовала и тогда блаженно засыпала она). Но случалось, когда мать бывала и дома, и в зале с картиною Каналетто играла Шопена, Элли у себя в постели плакала. О чем? Не могла бы сказать.

Позже, когда подросли, сами ездили с матерью в сияющий зал Дворянского Собрания, в Охотном ряду близ церкви Параскевы Пятницы. Там видела Элли впервые на эстраде худенького седого человека во фраке, неважно дирижировавшего собственную симфонию, но что бы он и как бы ни дирижировал, овации ему были обеспечены. Звали его Петр Ильич Чайковский.

Всё это было то прошлое, что удалялось теперь с Элли, Глебом и Танею на дальний запад, но никогда не умирало, так и жило в душе, как в Глебе отец, Усты, Прошино, мать за самоваром, разливающая чай.

— Браво! Браво Чайковский!

Это хлопает и вызывает дядя Карлуша, мамин брат, музыкант и поклонник Данте. Он розов, несколько пухл и мягок, с такими же синими, как у сестры глазами, ходит как бы приседая, энтузиаст и фантазер. Данте читает ежедневно, по нескольку строк, как Евангелие. Кроме него никого и не признает в литературе. Собрал целую о нем библиотеку. Совершил поездку по его следам в Италии и считал некоторых поклонников Данте и его исследователей, даже умерших, личными своими друзьями.

— Ах! Озанам! Озанам! Вы читали Озанама?

И блаженно закатывал небесные свои глаза.

Геннадий Андреич знал Данте мало, но по наслышке уважал. А к Карлу Ивановичу относился и покровительственно и слегка насмешливо.

— Чудак-с! Настоящий диллетант и чу-у-да-к с!

(Считал, впрочем, дилетантом каждого, кто не знал монет царя Митридата или не понимал ничего в аптекарской посуде Петра Великого).

Геннадий Андреич времен детства Элли был крепок и даже суров. Пустяков не любил. Почитал силу и волю, как у любимого им Петра. Если Агнесса Ивановна сентиментальна, это еще ничего, она женщина. Но мужчине впадать в слезу из-за Озанама считал он зазорным. А слез вообще не любил (на всю жизнь осталось у Элли, как девочками они собрались в театр, на «Евгения Онегина» и мать была уже одета, и всё заранее условлено... — отец вдруг запретил, отменил выезд по каким-то своим соображениям — объяснять даже не стал. Обида была неожиданна, но воля, хоть и далекая от Петра, в семейном владычестве оказалась непоколебимой. «Нет, нет-с незачем по театрам таскаться...». Плакали, но не поехали).

Летом выезжали на дачу, в Царицыно. Это Элли любила с детских лет и еще больше, когда подросла,

когда близилось шестнадцать-семнадцать и она вытянулась в легкую, стройную девушку. Мелкие кудерьки светлых волос, очень мелких, всегда в беспорядке, нежный румянец, дух ветра и света носил ее невозбранно по рощам Царицына, над прославленными прудами, беседками, руинами Екатерининского Дворца, недостроенного и брошенного. Геннадий Андреич снимал из году в год огромную дачу в Кавалерственном замке. Окна выходили на озеро, было просторно, светло, свободно. Геннадий Андреич не каждый день приезжал из Москвы — Исторический Музей для него важнее Царицына («дачи все эти для дам-с», говорил: «дамы, барышни там вот и пусть любуются природой и катаются на лодках!»).

Без него было свободнее. Больше мир матери, блаженно сиявшей эмалевыми глазами, полневшей, немало вкушавшей разных тортов, печений, конфет, варений.

Дядя Карлуша невозбранно вращался здесь, приезжала и тетя Лота, благодушная как сестра, но еще могущественней: пройти в вагонную дверь ей было уж трудно.

Являлись разные юноши, дальние мамины родственники, больше с фамилиями немецкими. Вокруг жили тоже дачники. Немало московских немцев, любивших пить пиво в саду Дипмана, шумевших вечерами там — иногда и танцовавших. Но была и молодежь, студенты, барышни из Москвы. Анна держалась серьезней, она и вообще была строже. А Лина — веселая, белокурая, со склонностью к полноте, и Элли — шалили как хотели. Устраивали, например, состязание: кто больше съест конфет? Забирались в беседку, усаживались с удобствами, ноги в ноги, распускали корсеты и ели, ели... — Эйнемы и Флеи и Абрикосовы беспрекословно работали на колесниковских девиц.

— Какие дур'ы! говорила Анна, слегка картавя,

поблескивая серьезными своими, великолепными глазами. — Совершенные дур'ы!

— Невеста, осторожнее! кричала Лина, потрясая светлыми, как и у Элли, локонами. — Мы не дуры, а отчего же нам и конфет не поесть?

Вот в жаркий полдень встречают они в аллее дядю Карлушу. Он в светлом костюме, соломенной шляпе — снимая ее, отирает с розового лица, безбородого, рыхлого, капли пота.

— Ах, душеньки мои, я только что перечитал... начало «Чистилища»... вы понимаете, Казелла, музыкант. Это во второй песни. В милой жизни, там наверху, был другом Данте, и вот у входа в Чистилище, ну знаете, это мистическое утро, таинственная ладья, привозящая души... там ведь такой лазурный воздух, и загадочные камыши по побережью — вдруг Данте встречает Казеллу и тот его узнает, и тотчас начинает петь лучшую канцону самого Данте...

Лина толкает локтем Элли.

— Да, знаем, знаем канцону!

Дядя доволен.

— Какие умницы! Вот значит недаром я Ратисбоннов перевод давал с итальянским текстом...

— Сейчас, сейчас! Мы сейчас споем... Элли, слушайся меня, я регент...

И Лина начинает. Дуэт недлинен. Слова из Ратисбонна.

«Оркестр играет,
«А Дант шагает,
«И шум и гром,
«И беатричин вой
«Что такой?»

Дядя меняется в лице.

— Что такое? Что за идиотство?

Но дуэт крепнет.

«Когда была я крошкой,
«Я Данте обожала,
«К нему одной дорожкой,
«Всегда бе-е-ежа-ла!»

Тут дядя уже в ярости.

— Прекратить! Немедленно!

И бросается на них. Но это-то и забава. Они быстрее, ловчей его, с хохотом, визгом удирают по аллее, за ними бежит с палкою дядя Карлуша. Но куда же догнать быстроногих! За ними юность, солнце, полет.

Из-за поворота долетает последняя строфа Казеллы:

«Ах, я к Данте,
«Я к Данте хоч-ч-ч-у-у!»

Платьица мелькают в чаще и их больше нет.

Пофыркивая, отирая лоб и обмахиваясь соломенной шляпой, Карлуша направляется к Кавалерственному замку, где колесниковская дача.

Агнесса Ивановна полулежит в летнем кресле у раскрытого окна, в своей комнате — очень просторной, беспорядочной и изящной. Внизу видно озеро, на нем лодочка. Светло, легкий ветерок, зыбь на озере, зыбь в занавесках, в мягких локонах Агнессы Ивановны. Благословение погожего лета, запах лип цветущих, веяние света и тени в эмалевых невинных глазах.

Стриженая приживалка Маркан раскладывает на столе гадальные карты.

— А-а, Карлушенька, раскраснелся, такая жар-р-ра! (Агнесса Ивановна, как и Анна, слегка картавит). Ты пиджак бы снял, тут все свои... Хочешь шоколадинку? Флеевские, замечательные...

На подоконнике коробка с голубой ленточкой. Но Карлуша отмахивается.

— Конфеты, конфеты! Только и делаете, что конфеты едите... Вот и девицы тоже, вместо того, чтобы

учиться, читать серьезные книжки, вечно что-то жуют, носятся по парку, придумывают всякие глупости.

— Карлушенька, они молоденькие, им хочется побегать...

— Пускай бегают сколько угодно, мне их ног не жаль, но надо чтобы культуру уважали. Дочери известного нумизмата и такое отношение к великой поэзии...

— Да что же они такое сделали?

Дядя Карлуша слушает уже только одного себя.

— Я и не жду от них, чтобы они были знакомы с большим комментарием Скартаццини, но сочинять пошлые куплетики и распевать их издеваясь над Данте... — верх безобразия!

Волнуясь, рассказывает, наконец, о преступлении. Агнесса Ивановна съедает шоколадинку (уже которую!), поколыхивается от смеха.

— Карлушенька, ведь это они не со зла...

— Еще бы со зла! У вас в доме ничего не делается со зла, всё всегда мило, благодушно как ты сама, и потому всё распущенно... А Геннадию, разумеется, не до того.

Маркан встает из-за гаданья. Стриженые седые волосы ее торчат, в коричневых от табаку пальцах недокуренная папироса.

— Не понимаю. Туз червей, дама пик...

— Какой-то пожар в зимнее время... к чему бы это? Не понимаю.

Дядя Карлуша отмахивается рукой.

— Вот, вот! Вместо музыки, Моцарта, Баха... гаданье... А юношество оскорбляет Данте — и где же? В доме Геннадия!

— Карлушенька, ты преувеличиваешь. Девочки учатся, и на рояле играют, даже недавно «Кориолана» исполняли в четыре руки очень недурно. А ко мне

Павлик иногда приходит, читает вслух Герцена... он так хорошо читает!

Маркан курит и презрительно пофыркивает.

— Барон! Его всё и чтение-то в том, что он у вас рублик-другой выпросит.

— Ну, уж ты, Маркан, всегда недовольна. И несправедлива.

— Потому что жизнь знаю. Разве я не верно говорю? — Она оборачивается к Карлу Ивановичу. — Вот и про Умёнышкина всегда говорила, что он бабник. Он и бросил жену с детьми. Разве не правда?

Маркан, некогда Марья Аркадьевна, некогда барыня, дама со средствами, потом учительница, ныне околачивалась около сытых столов — гадала и отличалась несколько мужским складом натуры, и главное мрачностью: ее звали Кассандрой. Умёнышкина этого, мелкого служащего и прихлебателя Агнессы Ивановны, она всегда ненавидела и теперь радовалась падению его и своей проницательности.

Но Карлу Ивановичу это мало интересно. Да и Маркан раздражает гаданьями, зловещестью своей и — с его точки зрения — невежественностью.

— Прорицатели, прорицатели! бормочет он. — Данте считал это страшным грехом... Тирезий-то у него где сидит? Тирезий сидит в глубоком аду, в самых нижних кругах.

Маркан ворчит, что ее не надо ни в какой ад спускать: довольно и тут навидалась, намучилась, ее адом не удивишь...

Но это для него тоже вовсе не важно. Если бы нашелся сочувствующий, с кем можно бы поговорить о графе Уголино, поспорить о знаменитом 75-м стихе, оживился бы. Но Маркан понятия не имеет о Данте, а сестра Агнесса сантиментально вздыхает, но дальше Франчески да Римини ничего в сущности не знает. Нет,

в этом распущенном доме ему совершенно нечего делать.

Вид у него недовольный, но в конце концов он тоже съедает две-три шоколадных конфетки, а там близится уж и завтрак. Чтобы развлечься, он идет к пианино. Тут нет ни дерзких девчонок, ни Марканов, ни Павликов, выдающих себя за баронов и знатоков Герцена. Вот Бах не выдаст. В его бесконечных и строгих лестницах дядя Карлуша успокаивается, глаза его приобретают мечтательно-потустороннее выражение. Так что, когда к столу, преизобильно насыщенному Иваном Лукичем, являются — как ни в чем не бывало — Лина и Элли, он уже вполне мирен: нет, это не враги, не обидчицы, просто юные девушки, полные жизни, огня, света. Может быть, завтра залезет Элли с каким-нибудь Павликом на такую развалину, что потом неизвестно как ее снять оттуда, может быть через неделю поедет с отцом на раскопку древней могилы, тут же вблизи Царицына. (Когда поперек разрывают курган, Геннадий Андреич важно шепчется с бородатым археологом, а потом Элли видит, с замиранием сердца, останки — браслеты, кольца: тоже была молодая девушка, тоже резвилась, цвела, смеялась, а теперь из разрытого глядит череп да пряди волос, да тонкий скелетик). Но самой Элли долго еще бегать и восторгаться, страдать и радоваться, болеть и быть здоровой, любить, быть любимой.

**
*

Время идет, юность проходит. Анна первая вышла замуж — за доктора, много старше ее: неизвестно зачем, но уж так получилось. За ней Лина и Элли. Всех выдавал Геннадий Андреич основательно, с шумными свадьбами и приданым, свадебными путешествиями и

устройством квартир в Москве. Анна осела крепче. Нельзя было понять, любит она мужа или не любит, но у них оказался особнячок на Девичьем поле, муж лечил, зарабатывал. В первые годы, когда пошли первые дети, первые внуки и внучки Геннадия Андреича, всё шло покойно: Анна жила прохладно, с той же серьезностью что и в девушках, для детей, в детской, озаренной прекрасными ее глазами — напоминали они мадонн Луини.

Лину постоянно ревновал муж-адвокат. Элли наобум вышла за молодого инженера и ее дела оказались особенно плохи: не без ужаса она скоро убедилась, что совсем мужа не любит. Но жить с ним без любви...

Когда дочери были детьми, Геннадию Андреичу трудно не приходилось — это особенный мир, там Агнесса Ивановна, гувернантки и приживалки. Но вот теперь свадьбы сыграны, всё будто бы на своих местах: в некий час полагается девицам Колесниковым менять фамилии... Так делали матери, бабушки — достойно менять, достойно плодить потомство. А он бы, Геннадий Андреич, попрежнему ходил в Исторический Музей, писал бы статьи о печатях Иоанна Третьего, составлял бы описания монет древнего царства Боспорского, беседовал бы с седобородыми археологами об интереснейших вещах, потчуя их славным вином Brâne Cantenac... — и вообще жил бы вполне покойно, ожидая внуков и внучек. Потом делал бы им подарки, но всё это «на полях» жизни. А вот оказывается, что Лина того и гляди сбежит от своего адвоката, хотя у него отличная практика и человек он порядочный. Элли уехала в Новгородскую губернию и муж жалуется ему, ищет поддержки, утешения. Анна при всей серьезности своей неудовлетворена, заводит знакомства с какими-то декадентами.

— Помилуйте, ходит в Литературный Кружок и в

этот, знаете ли, новоявленный театр Станиславского! Смотрит Ибсенов и прочую чепуху-с...

Так теперь жалуется он, Геннадий Андреич, сослуживцу Чижову, знатоку скифских древностей — как и он сам ходит Чижов в сапогах с рыжими голенищами под брюками, в отложной крахмальной сорочке при черном галстуке поперек.

Чижов играет пальцами в длинной бороде, точно перебирая струны арфы.

— Мода, Геннадий Андреевич. — C'est la mode, как говорят французы. Ничего не поделаешь. У меня племянница, хорошая девушка, недавно вернулась домой, с какого-то там собрания, прямо и заявляет: «Я хочу горящих зданий...». Да, и безо всяких...

Геннадий Андреич надевает пенснэ, смотрит на него строго. Умные его, карие глаза довольно-таки суровы.

— Что же она этим хотела выразить-с? И откудл эти бессмысленные стихи?

Чижов поглаживает рукой старинный кубок, фигуры зверей на котором ему очень нравятся.

— Я, разумеется, этих стихов не знал. Но она объяснила: современного поэта Бальмонта.

— Так ведь моя Анна лично с этим Бальмонтом знакома-с! Ко мне зять заявляется и сообщает, что Бальмонт этот у них недавно обедал и потом читал подобную же ахинею-с. Анне же и еще там каким-то молодым барышням это как раз нравится... Вместо Пушкина они восторгаются Бальмонтом!

Но одно дело жаловаться Чижову, другое объясняться с Анной. Анна дочь своего отца и в луниевских ее глазах нет благодушной эмали матери. Что нравится, то и нравится, чего *она* хочет, того и хочет и мнений своих не меняет, даже для отца, которого в детстве боялась, а теперь нет.

— Эти люди мне интереснее всяких археологов и

приживалок, которыми кишит ваш дом. И я жить буду как хочу и как умею...

После такого разговора настает полоса мрака: Анна перестает бывать на Земляном валу. Агнесса Ивановна полу-тайком ездит к ней на Девичье поле, вздыхает. После блинов, сидя в глубоком кресле в комнате Анны наедине с ней, старается всё смягчить. Московский закат глядит в окна, мартовский закат, освещающий на стенке «Остров мертвых» Беклина, гравюру Штука, на столике книжку Пшибышевского: Homo sapiens. Анна волнуется. Она разрумянилась, огромные ее глаза блестят почти сурово.

— Мама, ты понимаешь, я не девчонка и мной поздно командовать. У меня свои вкусы, у отца другие, но меня не переделаешь...

— Милая, тебя никто и не собирается переделывать, у папочки же такой характер... ты понимаешь, я то его хорошо знаю, за всю жизнь много терпела и переносила. И ты будь поуступчивей... сдержанней.

— Нет, нет, переносить, уступать не намерена. Тебя люблю и отца люблю, но подчиняться не намерена и в ваш распущенный дом, где всякие твои приживалки, кормежка как в Большом Московском и деспотизм отца — я не ходок. Пускай он любит Пушкина, а вот я — Бальмонта! И никто мне не указ.

Некоторое время и не бывает Анна в «Большом Московском», где Иван Лукич удивительно приготовляет рябчиков и для супа делает прехитрейшие фрикадельки — потом вновь появляется, но за это время Геннадий Андреич успел уже поссориться с Линой: та слишком много играет в преферанс, ездит по ресторанам, к Яру — Геннадий Андреич находит, как и муж ее, что это легкомысленно.

С Элли же получается совсем странное. Тут он не знает, что и подумать. Элли всегда ему была мила (хотя он и скрывал это) даже более других дочерей,

он пожалуй ее и любил, хотя считал слишком нервной и неуравновешенной... Всё-таки, всё-таки... — во-первых, она тоже знакома с Бальмонтом, не вылезает из Художественного Театра, читает «бессмысленного» писателя Гамсуна и восторгается им, окружена еще более юной и бесшабашной компанией, чем Анна, но главное: с некоторого времени совсем бросила мужа, поселилась одна, начала развод и через знакомства, связи двинула его довольно успешно. Сняла большую квартиру, сдает в ней комнаты, помогает разным студентам во время забастовок и чуть ли не видели ее около Бутырок — там она хлопотала об арестованных студентах, устраивала им передачи. А в своей среде, «среди разных поклонников Гамсуна и никому непонятного модного Ибсена», выделила юного студента, начинающего писателя. («Воображаю, что он такое пишет! Наверно, какую-нибудь современную галиматью-с!»). И как будто бы даже она собирается выходить за него замуж. Ну, разумеется, без всякого родительского благословения. «У них всё теперь так: обведет вокруг аналоя какой-нибудь захудалый попик, и готово дело!».

Домой Элли давно не являлась, и знает он о ней только от Агнессы Ивановны да еще от Дмитрия Дмитриевича. Этот Дмитрий Дмитриевич состоял другом семьи, другом Музея и поклонником учености нумизматической. Элли знал еще девочкой и всегда любил — он-то и смягчал всё, сколько мог, пред Геннадием Андреичем. А так как был очень богат, сам отчасти собиратель древностей, так как к дому Колесниковых был особо внимателен: присылал девочкам корзины цветов к именинам, Геннадию Андреичу дарил дорогие книги, а Историческому Музею завещал библиотеку, то Геннадий Андреич весьма считался с ним.

Как бы то ни было, Геннадий Андреич удивился, когда раз, в Музее, когда он рассматривал восковые слепки печатей Василия Темного, услыхал от служи-

теля, что его хочет видеть «ихняя дочь Елена Геннадиевна».

— И с ними молодой человек-с!

— Ну что же, зови!

Встал, несколько и нахмурился, застегнул пуговицу пиджака, поправил пенснэ, будто для встречи с некиим странным и чуждым миром — если не сказать: враждебным.

Чуждый мир заявился, однако, довольно скромно. Элли хотя и была в большой шляпе и элегантном синем платье в талию, с лорнетом в руке, легко двигая тонким, стройным телом, распространяя запах духов, однако сказала отцу даже слегка смущенно:

— Если мы тебе не мешаем, папа, может быть, ты покажешь нам кое-что в Музее... вот позволь представить Глеба Николаича, ему хотелось с тобой познакомиться, он много о тебе слышал как об ученом... хотел бы посмотреть... тут у тебя столько интересного...

Геннадий Андреич улыбнулся. С Глебом поздоровался весьма вежливо.

— Всякое обо мне могли слышать-с, от одних хорошее, от других худое, как и всегда бывает в жизни. Во всяком случае я ничего интересного из себя не представляю и что же меня смотреть-с... (в этом месте Элли вдруг показалось, что сейчас отец рассердится — и тогда всё пропало. Но это была лишь минута).

— Меня смотреть нечего, а в Музее нашем есть действительно хорошие вещи. Разумеется, интересно это тому, кто имеет расположение к истории, археологии...

Перед ним стоял худенький студент в университетской тужурке, с остроугольным лицом, юношеским румянцем на щеках, пробивающейся бородкой клинушком — она еще удлиняла лицо. Вид у него был совсем не воинственный: как на экзамене перед профессором.

Геннадий Андреич поправил пенснэ на носу и спросил тоном именно экзаменатора:

— Филолог? Историк?

— Нет, юрист.

— Юрист! Что же, вас интересует какой-нибудь особый отдел? Скифские древности, или памятники Москвы? Или доисторические времена?

Глеб сбивчиво, явно стесняясь, объяснил, что специального ничего... а так хотелось бы... вообще посмотреть...

Геннадий Андреич знал этот тип посетителей и не весьма ценил. («Так, вообще... посмотреть. Несерьезно»).

Но продолжая быть вежливым, повел любителя древностей по своим залам. А залы правда свои.

В некоторых находились предметы, которые сам он и доставал, покупал или выкапывал из вековых тайн погребения. В других плод трудов других знатоков, таких же одержимых ушедшим как и он сам, иногда друзей его, иногда научных врагов. А в общем всё это истинный и бесспорный *его* мир, из-за которого стоит жить, который действительно сущее, а остальное так себе, вроде призрака, вплоть до дома на Земляном валу, где живет Агнесса Ивановна и где жили дочери, а теперь разлетелись, и их жизнь — для него странная — дает новые уже ростки, в новых детях, его внуках, внучках. Это всё изменяющееся, это всё движется. А вот тут — прочно, вечное. Для других — пестрый набор отжившего, для него вечно-живое, всегда важное и замечательное.

Проходили по залам Киевской Руси, Новгородской. Кое где Геннадий Андреич останавливался, серьезно постукивал пальцем, как будто барабаня, или ласково гладил стекло витрины. Глеб и Элли покорно следовали, где надо было удивлялись и где надо восхи-

щались. Во всяком случае смиренно вели себя. Углубляясь в века, дошли до каменных баб юга.

— Вот это так называемый Тмутараканский болван-с, изволите видеть, глыба, по виду ничем не замечательная, но обратите внимание, на ней надпись, гласящая что князь Борис измерил по льду ширину Керченского пролива... Вероятно, во время одного из походов на юг России, где, как известно вам, находились некогда и греческие колонии. Эта область называлась в отдаленные времена царством Боспорским.

— Странно, сказал Глеб: — Босфор же ведь очень далеко, почему назвали Босфорским?

Геннадий Андреич усмехнулся.

— Босфор и Константинополь ничего общего не имеют с царством Боспорским, монеты которого вот, ваш покорный слуга изучает более четверти века. Оно находилось в России, по берегу Черного моря. Киммерия входила-с в него тоже.

Глеб никогда не слыхал о таком царстве. Почувствовав, что вопрос его неудачен, покраснел.

Геннадий Андреич понимал, что со студента юриста, да еще столь юного, много не спросишь. И сказал примирительно:

— Это мало кто знает и обычно удивляются, обычно путают. Но вот Киммерия больше вам говорит? Вы бывали в Крыму?

— Да, был раз. В Ялте.

— Ялта, Ялта... извините меня, город для дам-с. Шашлу есть да с проводниками по горам катать...

— Я был и в Феодосии...

— Вот это другое дело. Значит, знаете Киммерию.

Дошли до скифских чаш, кубков. Геннадий Андреич воодушевился, а у Глеба пестрело уже в глазах и голова тяжелела. «Ничего я не знаю, и наверно не узнаю никогда во всей этой путанице, а всё-таки лестница замечательная». Она может быть и была для

него путаницей, в действительности же вела извивами, темными своими путями в таинственную даль бытия.

«В нашей науке ничего не понимает, но довольно приличный, всё-таки, молодой человек», определил одновременно Геннадий Андреич, не словами собственно, а неясным ощущением, которое потом можно словами означить — и всегда приблизительно.

Про Элли он даже и не подумал. Она женщина, что же ей знать... Хорошо еще, что относится уважительно.

Несмотря на то, что как выяснилось на обратном пути через Киевскую залу, Глеб не помнил даже года, когда были убиты те князья Борис и Глеб, имя одного из которых он носил (помнил какого-то Святополка Окаянного, помнил, что жалостно они погибли от подосланных убийц — и только) — и вопреки всем этим прегрешениям Геннадий Андреич Глеба не отверг. Удивился, что его интересует Данте, был даже любезен, на прощанье поцеловал Элли.

— Давно что-то не была у нас, сказал ласково. — Приходи как-нибудь к обеду. И Глеба Николаевича приводи.

Потом обратился к Глебу.

— Мой шурин Карл, человек очень увлекающийся и неплохой музыкант, весьма поклоняется Данте. И знает его. Он может быть вам полезен.

Глеб был польщен приемом. Искренно благодарил.

***

Так произошла встреча нумизматики с начинавшейся литературой. Глеб действительно стал бывать в доме на Земляном валу, не весьма часто, но с постоянством, хотя не был еще ни мужем, ни даже объявленным женихом Элли (в какой-то момент Геннадий Анд-

реич решил на всё махнуть рукой: «время другое, жизни не переделаешь»).

Он оказался и прав. Всё протекало довольно благополучно. Агнесса Ивановна приняла Глеба сразу как близкого, благодушно потряхивала кудряшками на лбу, улыбалась доброй улыбкой и сияя небесно-эмалевыми глазами, закармливала пирогами и жареными индюшками. Он целовал ей ручку, она обнимала его и он тонул в теплых ее изобилиях. А за спиной тихо шипела Маркан: «Вот, появился еще молодчик! Добра не быть!». Но ничего недоброго не случилось. Так же, как и во времена дачи в Царицыне, всегда здесь кишели приятели, полу-родственники и прихлебатели, и родные настоящие: то Анна приезжала с детьми, то Лина, в меру того, кто из них не был в ссоре с отцом. Юный «барон» подрос сильно, всё еще, однако, был и молод, сухощав, элегантен. Играл в теннис, являлся с ракетками и без денег, читал теперь Агнессе Ивановне Диккенса, наедался за двоих и элегантным жестом «изымал» у двоюродной тетушки то «тройку», то «пятерку» — «заимообразно, в виду стесненных обстоятельств».

Дмитрий Дмитриевич присылал на именины цветы — неизменно, иногда зимой драгоценную клубнику, являлся и сам, высокий, худой, изящный. Когда в Большом театре танцовала его жена, знаменитая балерина Занетти, присылал ложу. Но Занетти никогда почти не бывала у Колесниковых — вела жизнь замкнутую и скромную, при божественном своем даре, сверхземной легкости полета на сцене, в жизни была робка и застенчива: занималась воспитанием дочери, принимала поклонение Дмитрия Дмитриевича и сама очень его любила. А он так был богат, что не проживал десятой доли доходов своей мануфактуры, хотя раздавал направо и налево, хотя рабочие его были устроены не в пример другим фабрикантам: исключительно.

Глеб впервые видел столь богатого и непонятно-простого человека. («Да-с, совершенно верно-с...» Он ни с кем не спорил, на Геннадия Андреича смотрел с благоговением нескрываемым и у него был такой вид, что вот сейчас он вынет чековую книжку, кому-нибудь поможет, за кого-нибудь похлопочет).

— Дмитрий Дмитриевич странный человек, особенный-с, говорил о нем Геннадий Андреич. — Редкостный. Если бы все богатые люди были такими, то возможно, что было бы похоже на рай. К сожалению, однако, это вовсе не так-с. До рая весьма, весьма далеко. И даже вовсе непохоже.

Дядя Карлуша временно перестал бывать на Земляном валу, обиделся за Баха, о котором непочтительно отозвался у Колесниковых один зоолог.

Но потом вновь стал появляться. Глеб познакомился и с ним. Узнав, что Глеб уже был в Италии и даже поклонник Данте, он ласково закивал ему пухлым женоподобным лицом с лазурными как у сестры глазами.

Но когда выяснилось, что Глеб собирается даже переводить Данте, на лице его изобразился почти ужас.

— А вы его хорошо знаете?

— Ну, не особенно, конечно.

Начался экзамен. Оказалось, что «Рая» Глеб вовсе не читал, «Чистилище» приблизительно, с литературою о Данте почти не знаком. Подумать только, о любимом Озанаме даже не слыхал. Ни Витте, ни Скартаццини...

— И вы собираетесь переводить Данте...

Вид у него был такой, что он разговаривает с безумцем. Но наверно смущение Глеба подействовало. Он налил себе и ему белого вина и сказал более мирно:

— Если вы обещаете, что будете обращаться с книгами аккуратно, я дам вам — для начала — Крауса,

это очень полезно. А там посмотрим. Имейте в виду, что переводу «Божественной Комедии» люди отдавали целую жизнь.

Глеб так сам еще был полон жизни, так хотел брать, а не давать, что это мало ему подходило. Тем не менее дядю Карла искренно поблагодарил.

— Вот видите-с, обратился к Глебу с вежливо-покровительственной улыбкой Геннадий Андреич: я всегда полагал, что Карл вам подходит и будет даже полезен.

Сам он считал, что и Карл, и Глеб, каждый в своем роде со странностями. Один носится с Данте, другой примыкает к «новой-с» литературе, «делает вид» что понимает «самоновейшего психопата с нелепым прозвищем: Андрей Белый».

Эта «новая литература», к которой Глеб отчасти и себя причислял, могла бы послужить поводом к раздору для него на Земляном валу, но не послужила. Глеб охотно пил с Геннадием Андреичем Brâne Cantenac, охотно слушал рассказы о Рейнаке и поддельной тиаре Сайтаферна, изготовленной в Одессе, почтительно рассматривал медали, в которых ничего не смыслил, но Геннадий Андреич тоже понимал, что этот будто бы скромный и вежливый студент с весьма малыми познаниями очень самолюбив и упрям, в некоторых вещах совсем не уступит и задевать его не надо. Глеб тоже не приставал к нему с Блоком и Белым, а когда Геннадий Андреич восторгался «Русланом и Людмилой» на сцене («каждый раз хожу-с»), Глеба это не раздражало. Вооруженный мир продолжался. И весьма тем поддерживался, что Глеб занят был писанием своим и любовью, а Геннадий Андреич монетами царя Митридата.

Развод Элли кончился, подошло время брака. Венчание так и устроилось, как предвидел Геннадий Андреич: без всяких оповещений.

На Земляном валу да и в Прошине о нем узнали,

когда оно уже совершилось. За сокрытие Геннадий Андреич довольно долго дулся. Виновные не бывали временно в доме у Ильи Пророка, но потом произошло объяснение. Глеб волновался и убеждал, что «никак не хотел обидеть, но думал, что просто это неинтересно». «Неинтересно!». Геннадий Андреич был поражен. Такого взгляда на дело он еще не встречал. «Ну, да у них, у молодых, всё по особенному». И это его успокоило.

Понемногу всё и прошло и забылось, снова стали бывать. Земляной вал всё прочнее входил в жизнь Глеба. Занимал меньше места, чем Прошино, всё-таки занимал.

А теперь, вытянувшись на мягком ложе вагона, неторопливо катившего его к Себежу, Глеб, усталый, замученный последними днями в Москве, всё-таки навсегда увозил с собой все облики прошлого, не говоря уже о матери и отцовской могиле, Собачке, но и Геннадия Андреича и дядю Карлушу, Агнессу Ивановну и приживалок, и множество тех мелочей, которые казались иногда и неважными, но из них складывался весь план бытия его.

Разве не важно было то лето перед войной, которое провели они с Элли целиком как раз в доме на Земляном валу? Геннадий Андреич уезжал в Крым на два месяца — Элли была несоразмерно толста, ходила в широчайшем капоте, но веселая, оживленная. Они занимали небольшую зеленую гостиную, обращенную теперь в кабинет Глеба и жили счастливо. В книжных шкафах за стеклами книги Геннадия Андреича — переплеты их основательны. Наверху маска Петра Великого выпучивала белые, страшные глаза. Окно выходило в тот сад, где Элли девочкой посадила жолудь — из него вырос теперь славный дубок. Росли там и клены, и липы, и сквозь зелень их лилось золото погожего лета. Зеленовато-золотистые струи его ложились

в комнату с зеленым бархатным диваном, наполняли прелестью прозрачного полумрака. Здесь целыми днями работал Глеб над своей рукописью, а рядом в зале, под копией Каналетто, Элли перестукивала на машинке написанное.

В доме кроме них жила только Агнесса Ивановна, топившая их в поцелуях.

Из этого дома ездили иногда по вечерам на Тверской бульвар в маленькое кафэ грека Бляциса и сидели в тени дерев, и встречались с юными своими приятелями из литературной богемы — пили турецкий кофе в крошечных чашечках.

И однажды, когда выходили, некто сказал, обернувшись на Элли:

— Вот поэтому-то в Москве и растет население!

А в один светлый августовский вечер, в тот самый, когда Глеб поставил точку в последней фразе рукописи, Элли увезли к Красным Воротам, где дядя Штраус, муж тети Лоты, известный в Москве гинеколог, устроил ее в своей лечебнице.

Мог ли бы Глеб забыть о тех часах, когда вместе с Агнессой Ивановной сидел он в гостиной у телефона и ждал звонка, и наконец, ровно в полночь раздался он. Голос из лечебницы сказал:

— Благополучно, девочка.

Эта девочка, с порядочными уже косичками, сидела теперь у окна в вагоне. Подъезжали к Себежу. Поезд остановился. Прошли таможенники. Потом он тронулся и явились другие. Они тоже рылись и спрашивали. Но и они ушли. Поезд постоял постоял, да и двинулся.

— Мама, теперь Россия кончается?

Элли лежала на нижнем диване, тоже в изнеможении.

— Кончается. А что?

— Нет, радость моя, ничего.

Таня вышла в коридор. В сквозняке покачивались ее косички. Ленточки на концах трепетали. В руке у нее были две незабудки, остатки того, что им поднесли на вокзале.

Она постояла у открытого окна и возвратилась. Незабудок не было больше в ее руке.

— Россия теперь кончилась, сказала она. И отвернулась.

БЕРЛИН

В пансионе фрау Бок на Тауэнцин-штрассе мебель в чехлах, полы сияют — пахнет жареным кофе.

Элли раскладывает вещи из чемодана в большой комнате — на столе портрет Вильгельма в рамке с засушенными цветами. Через коридор, в маленькой комнатке, поселился Глеб.

— Мы теперь тут и будем жить? спрашивает Таня.

— Да, пока тут. А потом наверно поедем к морю. Правда, славная у нас комната?

Таня вежливо вздыхает.

— Да, отличная... Всё-таки, в Москве, пожалуй была больше.

И как бы спохватившись, добавляет: зато здесь гораздо чище.

— Вот твои книжки... «Серебряные коньки», «Лорд Фаунтлерой», Пушкин.

Таня покорно берет книжки, складывает их на столике и принимается помогать матери.

В том, что она говорила, всё правда: хорошо и просторно, внизу в столовой отлично сидеть за отдельным столиком и, слава Богу, «радости моей» не надо самой готовить, подает всё берлинская горничная в чепце и белом переднике. Это очевидность. Но под очевидностью нечто, что высказать ясно не могла бы она, а сидело в ней это прочно: всё тут чужое, и так непохоже не только на Прошино, где летом она купалась в Апрани, гоняла в ночное лошадей и с девчон-

ками распевала «Костромушку-Кострому», но даже и на последний год жизни в Москве (морозы, салазки, пайки, валенки, ушастая оленья шапка, хождение в школу, где девчонка спрашивала ее: «твой папанька в кооперативе служит?» — Таня отвечала внушительно: «мой папа писатель». И однако же, там была Москва. Россия...).

А Берлин был Берлин, ни с каким Прошиным и Кривоарбатским ничего общего не имевший.

Первое время Глеб и Элли много бегали по Берлину этому, то с знакомыми русскими, то в одиночку — город хотя и серый, но как живо, свободно всё, разные Кадевэ полны, сколько платья выставлено, обуви, толпа в Романишес кафэ против Гедехтнис Кирхе, сколько цветов на Курфюрстендамме. Зелени вообще много — цветы и на окнах, на верандах кафэ, у входов в рестораны, целые фасады домов увиты ползучими растениями — это всё Берлин. И не только сад-лес Тиргартен с вековыми деревьями, с той громоздкостью и размахом, что Пруссии свойственны, но и разные зеленые Лютцоф-Уферы и Кайзераллее, всё полноцветно, кипуче и смягчает казарму Берлина.

Вечером, проходя по Тауэнцин-штрассе, в веселой толчее человеческой, под отблеском павлиньего заката за Гедехтнис Кирхе, Глеб испытывал иногда ту смесь оживления со щемящею грустью, которое и есть острое чувство жизни: да, свобода, писание и Европа, и даже этот шумный Берлин... — но и не он, от него тоже дальше.

Как в юности, бродя по полям Прошина, на закате, так теперь на Тауэнцин-штрассе... Италия! Так ли, иначе, в Италию надо пробраться.

А пока что ходили они с Элли по вечерам в кафэ — Таня покорно засыпала одна, бывали и в ресторанах.

В одном из них некто Чашин, знакомый еще по Москве, почти вместе с ними и выехавший, заявил Гле-

бу, что собирается на море, в Хагенсдорф, близ Штетина.

— Нечего тут сидеть, уверяю вас, говорил он, поблескивая карими, влажными от нервного возбуждения глазами: Хагенсдорф вам понравится. Лес, море, рыбаки, простота...

Когда на другой день Элли сказала Тане, что собираются на море, та тоже оживилась.

— Там деревня? И лес есть, как у нас в Прошине?

— И лес, и море. Это называется Балтийское море.

Моря Таня не видела никогда. Это ее занимало. Про Берлин ничего матери не сказала. Но могла бы сказать, что тут ей не нравится. Что иногда, когда мать и отец, уложивши ее уходят, она потихоньку плачет, вспоминая бабушку, Ксану, Прасковью Ивановну, Прошино.

**
*

Леса, настоящие, «как в России», укрывали Хагенсдорф, море шло к северу, за серебряной его далью остров Борнгольм и невидные дальние берега Скандинавии. На песчаном пляже детишки, из сосновых лесов благоухание, в окнах домика немолодой фрейлейн Пабст, честной германской девы, белые занавески чистоты безупречной. Окно Глеба прямо в зелень — березы сада, там улица, сбоку дворик, где сушится белье фрейлейн Пабст. Элли с Таней на пляже. Глеб по утрам пьет жирный кофе с булками, маслом. Два яйца в смятку, потом завтрак, потом... — доктор в Берлине велел питаться, и он с каждым днем крепнет и ведет жизнь хоть нешумную, но и деятельную — литература, печатание, гранки: то, чем всегда занимался.

В небольших двух комнатках деревянного домика как светло! — от зелени снаружи приятный отсвет, и

всё вообще здесь удобно и прочно, основательно: живут — знают зачем. Над кроватями на квадратах матери вышиты надписи: «Трудись и не забывай Бога», или: «Честного не одолеет никто, но он сам заслужит высшую похвалу». Фрейлейн Пабст, девственница высокая, худая и трудолюбивая, неукоснительно стирающая и развешивающая во дворе сорочки, кофточки, белые длинные свои панталоны с фестонами, сама — воплощение всех этих надписей. Долгими зимами Померании, когда ледяное море бушует, вековые сосны гудят грозно, как и во времена давних предков гудели, вышивает она новые глубокомысленные изречения на покрышки для одеял, спинки кресел. Библия, пророк Исаия, Иезекиель, апостол Павел — никого не оставит она в покое.

С Элли и Таней она в лучших отношениях, Глеба немножко боится, как представителя высшего племени: *мужчин*, в племени этом есть и страшное, и вызывающее преклонение. Глеб для нее «Herr Doktor», вечно сидит над книгами, рукописями, ему каждый день идут письма и пакеты из Берлина. Не совсем ведь обычно, сразу видно: Herr Doktor.

Глеба это не удивляло. С детства, со времен Устов и Людинова он привык, чтобы его звали Herr Professor, и любезно-почтительная улыбка фрейлейн Пабст ничего не меняла.

Элли была для нее Frau Doktor (хотя и довольно странная: слишком живая и быстрая). Даже Таня — это особенно весело было слышать: Fräulein Doktor.

Таня смеялась, говорила матери:

— Чудо мое, меня никто так в Москве не называл.

В этом смехе было уже нечто от нового мира, куда они погружались понемногу, незаметно даже для себя — нечто от того запада, где пока чувствовали себя гостями, мало понимая еще свои судьбы. И дни Хагенсдорфа летели, заметая былое, хотя и казалось, что

Москва совсем близко, хотя на пляже Таня играла и с русскими детьми, а Глеб и Элли встречались с русскими взрослыми.

Приходили письма из Москвы, Прошина — Элли волновалась всегда особенно... но вокруг был германский мир. Таня знала уже кое-что по-немецки, могла пойти в лавку купить масла, яиц. Хоть и с русским Чашиным, Глеб сидел иногда вечером в немецком кафэ с пестренькими настурциями по окнам и потягивая Тарагону слушал рассказы Чашина об Испании и небольшой вилле его на юге Франции, близ испанской границы.

Чашин был фантазер и авантюрист, русский барин с эстетической закваской, читал стихи, выступал в Москве в Камерном Театре, а сейчас, поблескивая карими орловскими глазами на умном и порочном, бритом лице, уверял Глеба, что больше в Россию не вернется — никогда.

— Вспомните, как жили мы с вами последние годы! Это жизнь? Я Европу еще молодым всю исколесил, в Кэмбридже учился, все музеи, театры знаю, слушал великих музыкантов и теперь вместо того, чтобы прививать себе родной тиф, как вы изволили в Москве сделать, или вместо сидения по чека и стояния у стенки, я опять, пока хватит сил, буду по этой старой Европе проживать то — не весьма многое — что удалось спасти.

Он и действительно не терял времени. То в Берлин, то с каким-то знакомым в древний Каммин, то на рыбацком судне на всю ночь с рыбаками в море. А вдали Париж, Италия.

Глеб же более скромно дышал прохладной, лесной и морской Померанией, она казалась ему необильной и даже бедной в суровой некрасоте севера. Всё же по вечерам, выходя к морю, не раз любовался он закатом. Какие радужные перья разлегались по небу! Как

медленно гасло всё потом, лес погружался в сумрак, море серебряною, хладной пеленой проступало, на багровом теперь западе черным призраком стояла на зеркале шхуна, черные паруса трех мачт, слабый зеленеющий огонь... Еще позже Большая Медведица означалась, указывая: там Петербург. А на другом конце неба, за Берлином — Италия. И опять сердце сжималось.

Жить, жить! Впереди еще так много. И не зря в небе звезды.

**
*

Они стояли и над бедным (некрасотою своей) Берлином, над берлинской зимой Глеба, Элли и Тани.

Теперь это Фробенштрассе. Тихий серый дом, фасад увит диким виноградом — осенью славно краснеют листья его. Лестница в безукоризненном коврике вводит в безукоризненную квартиру, теперь уж не фрейлейн Пабст, а полковника кавалерии Бунге. Священная тишина, священная чистота — ковров, мебели, кроватей, окон. Худой, еще стройный и молчаливый полковник, полная и болезненная жена, простор, меланхолия ушедшего — тут у путников русских две комнаты, ванна и Küchenbenutzung — та же кухня что у хозяев, но в ней Элли отчасти стесняется стряпать: в удобном своем саркофаге хозяева, разоренные войной, ведут полуголодную жизнь. В огромных шкафах коридора висят платья фрау и костюмы герр Бунге, но со своей молчаливой внимательностью готовит он для себя и больной жены только одни картошки.

Ходит дома в туфлях и полувоенной куртке. Всегда чисто выбрит, священнодействует проходя коридором или зажигая газ в кухне.

На русских смотрит со спокойным и сдержанным

сожалением — сверху вниз. Дай Бог, чтобы восточные люди не просидели дивана, обоев не замусолили, не перебили посуды и хоть кой-как убирали ihre beide Zimmer.

Элли здесь тоже Frau Doktor. Странная Frau. Приветлива и даже ласкова, говорит по-немецки, но... — верно это так и полагается у русских? — Никакого уважения к хозяйству. Поставит кастрюлю на огонь и уйдет, с таким видом, что ей всё равно, подгорит рагу или не подгорит, выйдет из этого что-нибудь или нет. Fräulein Doktor более основательна. Кофе мелет спокойно, за покупками ходит исправно, а по-немецки начинает говорит даже с берлинским акцентом.

Если бы Herr Бунге понимал по-русски, он и еще больше был бы удивлен, слыша, например, как Fräulein Doktor с детским спокойствием спрашивает Frau Doktor:

— Чудо мое, ты поставишь это на огонь?

— Ах, да, конечно... что-нибудь там да получится... ну что-нибудь вроде беф Строганов...

И действительно что-то получалось, при быстроте Элли могло выходить только скоро созидаемое, но при счастливой ее звезде выходило всё же неплохо. Длительное же и методическое — не ее мир. И даже подметая коридор не могла она довести дела до конца.

— Радость моя, ты оставила там кучку сора, я сейчас подберу на совок...

Незаметно Таня обуздывала ее стремительность и не удивлялась ничему — в этом с Бунге не было у нее ничего общего. Напротив, здесь на чужбине образ матери, всегда летящей и кипящей, воплощал для нее еще полнее всё, что в детской своей жизни успела она полюбить на родине. И когда ласкалась к Элли, прижимаясь к ней, говорила:

— Ты самая хорошая, самая красивая...

И не зная, что бы еще сказать посильнее, добавляла:

— Главная всей России.

Это название Глебу нравилось. Он улыбался про себя, вспоминая, как его самого называла Таня в Прошине. Когда из большого дома он уходил к своим книгам во флигель, Таня кричала ему вдогонку:

— Книгель пошел во флигель!

Здесь в Берлине из всех троих Таня имела наибольший успех у Бунге. Подавая жене, всегда что-то вышивавшей, из кухни дымящийся Wassersuppe, полковник иногда говорил:

— Die Kleine ist sehr klug.

(Он только что видел, как Таня в кухне хозяйничала вместо матери).

Фрау Бунге перекладывала больную ногу поудобнее на скамеечке и вздыхала.

— А что же сейчас делает Herr Doktor?

Полковник загадочно подымал ввысь белесые глаза.

— Если он есть писатель, то значит и пишет.

— А не пачкает ли чернилами стол?

Полковник наливает суп, она садится к столу, он напротив нее, в том же торжественном молчании как до войны, когда были они богаты, комнат не сдавали и питались не только картофелем.

— Я не знаю, запачкает ли он стол, но у них бывает много гостей. Я боюсь, что они попортят пружины в диване.

Опять тишина, говорящая о страшных возможностях: а вдруг протопчут дорожку в ковре, или разобьют вазу? Но страхи напрасны. Хотя Frau Doktor со своей быстротой в движениях, несколько возбужденным, почти восторженным немецким языком и явной нелюбовью к хозяйству казалась им совсем странной, всё же то, что Глеб — Herr Doktor и постоянно за письменным столом, и что вот время идет, а в их beide Zimmer никаких горестей с мебелью и обстановкою нет,

понемногу успокаивало. Ну, русские так и русские. Во всяком случае, платят исправно, несмотря на обилие знакомств живут тихо, в кухне держатся вежливо и приветливо, а Frau Doktor откалывает иногда даже Witz'ы. Пожалуй всё обойдется.

Однако, весною вновь испытали они беспокойство. В начале марта и Herr и Frau Doktor одновременно заболели.

— Die beide sind krank, сказал мрачно полковник, подавая жене утром кофе (происхождением из померанского ячменя). Фрау Бунге встревожилась. Не заразное ли? Русские — мало ли что может быть: тиф, холера, чума?

Полковник не мог объяснить. Но находил, что вряд ли холера. Во всяком случае это было ему неприятно.

Ни холеры, ни чумы не оказалось, но Глеб и Элли действительно заболели, и довольно серьезно. На огромной постели с торжественно взбитыми подушками, под стеганым желто-златистым одеялом возлежали они рядом, как в некоем саркофаге, и наперебой кашляли.

Для Fräulein Doktor наступили трудные дни — но и время показать себя.

На Тане оказалось всё хозяйство, вся квартира. Тут не Прошино, где бабушка, Прасковья Ивановна, Ксана. Тут Берлин, надо самой всё. Но в Тане была же кровь бабушки — той бабушки, которая ничего не боялась ни в мирное время, ни в революции, войны. Таня ко всему отнеслась деловито, покойно: убирать комнаты некому, она будет убирать. Есть-пить надо — всего она приготовить не может, но дойти в ресторан русский, захватив с собою посуду не так уж хитро. Кофе же или чай сварить тоже нетрудно.

— Aber die Kleine ist sehr klug, говорил сумрачно герр Бунге, глядя как Таня, со своими косичками за плечами, с судком и крынкою для молока спускается

по ковровой лестнице. (Ему не очень нравилось, что вот и русская девочка, а делает не хуже немецкой).

Лечил Глеба и Элли доктор Зальцберг — худенький, бритый, быстрый в движениях.

Осмотрел, выслушал, вид имел такой, что всё заранее ему известно.

— Разумеется, разумеется... Вот что-с, барышня, обратился вдруг к Тане: вы, я вижу, здесь вроде хозяйки, и слава Богу. Действуйте. За папой-мамой надо ухаживать как следует.

Таня внимательно его слушала. Получалось так, что он с ней больше имеет дело, чем с Глебом и Элли.

— А какая же у них болезнь?

Зальцберг обернулся теперь и к родителям.

— Слов не будем бояться. Врач друг больного и как друг помогает ему. Имеете листик бумаги? Надеюсь, в квартире писателя... Так. Благодарю. У обоих гриппозное воспаление легких (на этот раз обратился уж к Тане). Слава Богу, что не крупозное. Ничего страшного, температура невелика, сердце в порядке, но кончится всё не завтра. Нет, на завтра мы не имеем надежд. Мы их не имеем. Запаситесь терпением. Сейчас кое-что пропишу, но главное надо компрессы, всё туловище в компрессах.

Что такое гриппозное, что такое крупозное Таня не знала. Но... «воспаление легких» на всех троих произвело впечатление.

Однако доктор был очень бодр, его самоуверенность действовала.

— Ничего, ничего. Вечером зайду, покажу как их заворачивать, будете папе-маме помогать, они чтобы тихенько в согревающем лежали и всё будет замечательно. Да, и питание... Лимонами, кроме всего прочего: больше всего лимонами, медом... Питание при этой болезни необходимо.

Вечером сам он их забинтовал — Глеб и Элли ста-

ли похожи на мумии, а он всё говорил, рассказывал об Италии: в Монтекатини одно время жил, работал с итальянским доктором в санатории.

— Италия! Что за страна! Что за народ! Будто Россия.

— Мы и сами туда собираемся, сказал Глеб негромко, из теплой своей скорлупы — компресс начинал уже греть: если деньгами удастся разжиться, осенью хорошо бы и тронуться.

— Да, да, ешьте побольше лимонов. Это целительно. Это волшебно.

Маленькое, гладко бритое лицо его с седоватыми висками принимало восторженное выражение. Главные несчастья человека от печени. Главные друзья его — мед и лимоны.

Он приходил очень часто. От денег отмахивался («не дурите мне голову»...). А собою действовал хорошо. В особенности на Таню. В этом немолодом, бойком живчике чувствовала она союзника, чуть ли не друга. Иногда ночью, слыша из другой комнаты кашель отца, которому мать вторила, впадала вдруг и в тоску: ну, а если... — ах, лучше об этом не думать. Считать до ста, как бабушка учила, чтобы заснуть. А завтра за молоком, хлебом, варить кофе, менять компрессы... — да, доктор Зальцберг. Его подвижная, неутомимая фигурка с глазами как бы заклинателя, вроде восточных волшебников — всё хорошо. «Мед, лимоны...». Нет, он свой, он союзник, не выдаст.

Волшебник помогал ей перепеленывать родителей, называл ее «барышня», иногда «медицинский персонал».

— Если б я был хирургом, то для операций непременно выбрал бы такую помощницу.

Таня слегка конфузилась, но была довольна. А он с каждым днем чувствовал себя у них прочнее, точно свил гнездо. Таня покорно покупала лимоны и мед,

Глеб и Элли покорно вкушали — это было и вкусно, действительно: но были слабы, в этой комнате, на двуспальной кровати, отравленные болезнью, жили они как бы за сценою, едва слышно. Владевшие ими силы даже сравнивали — в вялости и бездейственности — их характеры, столь в обычной жизни различные.

И тянулось всё медленно, несмотря на камфару и компрессы. Глеб находился в том равнодушии болезни, в той тоскливости, когда кажется, что ничто никогда не кончится, так вот всегда и будет: рядом ослабевшая Элли, в движении милая Таня, во второй половине дня доктор со своими лимонами.

Но как раз этот Зальцберг и оказался прав: одновременно с прибавлением дня, с марто-апрельским светом, возраставшим в астрономической неторопливости, но и с астрономической неуклонностью, слабела сама болезнь, падала температура и убавлялись хрипы.

— Ну вот, я и говорил! Терпение, правильный метод борьбы — и мы одолели. Доктор продолжал быть безупречным.

Встретив его однажды на лестнице, герр Бунге сумрачно сказал жене:

— Der Arzt ist ein Jude.

Последствия оказались довольно странны. Фрау Бунге заметила, что евреи часто бывают хорошими врачами.

— Спроси, довольны ли они им?

Бунге узнал, что очень. Тогда фрау Бунге решила позвать его и посоветоваться.

Доктор Зальцберг был с нею так же бодр, приветлив и самоуверен, как и с ее жильцами. Так же напирал на лимоны, назначил кое-что новое, но главное — предписал теперь же, не дожидаясь сезона, неукоснительно — Bad Kissingen.

Бунге переглянулись. Для этого нужны деньги. Но полковник вдруг вспомнил что-то, повеселел и сказал:

— Abgemacht.

Решил ли он заложить припрятанную драгоценность, или продать шубу последнюю, или взять под вексель у ростовщика — неведомо. Но известно, что вскоре фрау Бунге уехала в Киссинген.

Был конец апреля. Потеплело. Над Берлином пролетали в лазури кисейные облачка — светлый привет весны. Тиргартен нежно зазеленел. Глеб и Элли уже ходили, доктор торжествовал, Тане стало полегче.

— Чудо мое, говорила она, прижимаясь к матери. — Я рада, что вы выздоровели. Я иногда боялась.

— Фу, глупости.

— А мне страшно бывало...

Потом, посмотрев на распустившиеся внизу деревья, вдруг прибавила:

— У нас в Прошине пожалуй яровое сеять начали.

Элли ее поцеловала.

— Ты помещица. Тебе бы с бабушкой в деревне хозяйничать.

Элли могла бы добавить: а мы с папой богема, голытьба.

— Что ж что в деревне... В деревне даже очень хорошо... Разве в Прошине плохо?

Таня была слегка задета: деревню при ней никак нельзя было трогать.

Их собственные же судьбы слагались сейчас так, что от всяких деревень уводили всё дальше, направляя на отчасти желанные, но и неожиданные пути.

Однажды к ним явился, на Фробенштрассе, Ника Бартенев, молодой поэт с антропософскою прослойкой — худенький, изящный, с большими карими глазами. Глеб и Элли хорошо знали его еще в Москве. Теперь он получил наследство, и немалое — покойный дядя хорошо заработал в Дании.

— Датские кроны, сказал он, и вдруг по-детски, но как-то и очень громко захохотал. — Датские кроны

это не здешние марочки, которыми скоро будем оклеивать стенки... вместо обоев! Дешевле! Да, кроны!

Он весело потер руки — маленькие, тоже изящные, явно негодные для транспортного дела дяди, но пересчитать датские кроны способные.

— Вот я и намерен основать издательство...

Дальше всё было ясно. Приглашает Глеба, дает аванс, и так как знает, что Глеб любит Италию, то вот и возможность пожить там, тем более, что и Ника сам, с женой своей Мариной, собирается туда.

— Будем там жить, под Генуей, на итальянской Ривьере — а? Таня — а?

Ника знал Таню тоже еще по Москве. И они дружили. Таня считала, что он хоть и взрослый (даже есть жена), но и как маленький, с ним можно бегать, играть, хохотать как с прошинскими девчонками, а при том он особенный, ни на кого непохожий.

Он и сейчас вдруг вскочил, прошелся драконом по коврам Бунге (на корточках, сильно загребая руками), подскочил к Тане, схватив высоко поднял.

— В Италию, в Италию!

Победоносный клич, всеми подхваченный. Таня в Италии не бывала, но так как и «радость моя» о ней постоянно и восторженно говорит, и книгель, то она вполне верила, что это нечто замечательное.

— По разным соображениям решили, что тронутся в сентябре. Ника же с Мариной поедут позже.

***

— Чудо мое, Бунге нынче какой-то странный... Я вхожу в кухню, а он у плиты приплясывает, напевает. Обернулся, лицо такое красное.

Элли засмеялась:

— Выпил, наверное, лишнее.

— Он всегда серьезный и молчаливый, а тут начал со мной болтать... Да, от него пахло водкой, это верно.

— Вот видишь...

Весна оказалась для полковника Бунге веселой. Откуда раздобыл он денег? Неведомо, но достал. Не только отослал жену, но и сам зажил по-новому. Таня видела часть, только часть его жизни — об остальном не догадывалась, да по детскому своему положению и не поняла бы.

Глеб однажды проснулся часа в четыре. Светало. С улицы слышался галдеж. Он подошел к окну, приотворил его. Элли тоже проснулась.

— А? Кто это там орет?

Глеб прикрывал уже окно.

— Я сейчас маму во сне видела, будто она угощает меня пирожками, а потом вдруг огромная собака, и залаяла... я и проснулась.

Элли бормотала в полусне. Она всегда видела сны. Для нее заснуть — значило погрузиться в новый мир, всегда очень яркий, хоть иногда и нелепый.

— Спи, спи. Поет пьяный Бунге. Его ведут под руки две девицы.

Элли зевнула, перевернулась на другой бок.

— Старый идиот.

И заснула тотчас, по-детски крепко, как Таня. Сны опять повели ее, куда хотели.

"КЕННСТ ДУ ДАС ЛАНД..."

Фрау Бунге давно вернулась. Полковник давно обратился вновь в трезвенника, мрачно варящего для жены Wassersuppe. Русские не попортили мебели. Без спору заплатили за разбитые чашки, попрощались любезно — фрау Бунге Таню даже расцеловала. Герр Бунге был значителен, серьезен и изящен. По отъезде их сказал жене:

— Aber die Kleine war die klügste.

Умнейшая из трех катила в это время на автомобиле к Anhalter Bahnhof'у, сидя между отцом и матерью.

На вокзале несколько приятелей, приятельниц облобызали их, напутствуя. И доктор Зальцберг весело приветствовал: он расценивал теперь Глеба и Элли как своих питомцев. Сказал, что если будет в Монтекатини, то навестит их.

— А вас, крикнул Тане, когда поезд трогался уже и она, улыбаясь, кивала из окна: вас беру помощницей себе в клинику.

Через несколько же минут поезд бурлил, громыхал и летел сквозь предместья Берлина, унося в некоем вихре, начавшемся еще в Москве, троих русских всё дальше и дальше в начертании их судеб.

Новый мир, Тане вовсе неведомый, приоткрылся на другой день за Мюнхеном, где ночевали, в стране гор и лесов. Он сгущался, темнел полосами елей по скатам, кипел внизу бурными речками, уходил в под-

небесье облачными вершинами. То хмурилось, то прорывалось солнце и тогда вершины зажигались, всё светлело, веселело.

— Папа, какой за́мок! Это очень древний? А вон на горе лысое место, лес вырублен. Да, понимаю. Смотри, бревна прямо вниз спускают, они катятся по горе.

К вечеру Таня устала, привалилась в купэ к матери и задремала. Глеб один стоял в корридоре, смотрел. Это он любил, с детства привычен был в поезде часами глядеть в окно, в одиночестве.

Сейчас самые близкие его сидели в купэ, а ему одиночество, как и всегда было необходимо. Да, вот почти двадцать лет назад въезжал он с Элли тоже в Италию — из Вены чрез Земмеринг на Венецию. И тоже граница к вечеру, тоже горы, замки австрийские... — хоть и двадцать лет, а как сейчас помнится предзакатное сияние в одном месте на вершине Альп, в облаках. «Смотри, точно ангелы проходят» — Элли указала тогда на световые снопы, выкатившиеся из краев тучи, победоносные, эфирно-движущиеся. Потом был какой-то Понтафель — Понтебба: началась Италия.

Скоро она и сейчас начнется. Глеб стоял, вдыхал из окна мягкий вечерний воздух — он считал уже: итальянский, иногда и с паровозным дымком. Он был весь полон желанием радости. Не думал ни о России, ни о матери, Прошине, ни о том переломе, который свершился в судьбе их — вот теперь ведь летят они, в грохоте поезда, с маленькой девочкой, с малыми средствами, в страну жизни их, сами как дети, несмотря на всё пережитое. Значит, уж так им указано.

Верона издали дала о себе знать в темноте россыпями огоньков. Золотые точки, цепочки их и ожерелья то выскакивали, то прятались за поворотами, но всё расли, ярче блестели, как бы говоря: «Большой город».

Большой город принял их в теплом благоухании синей прозрачной ночи. Было часов девять. Веттурин, похлопывая бичем, покрикивая на лошадь, вез их в коляске к Albergo Academia. Таня сидела на скамеечке напротив, усталая, но сейчас всё-таки оживленная. Косички ее побалтывались в такт хода лошади.

— Это теперь уж Италия?

Она говорила не то с гордостью, не то ожидая подтверждения. Но сейчас же сама подтверждала, не дожидаясь.

— Верона! Италия! — слова, так часто слышанные от родителей.

Albergo Academia, указанный еще из Берлина — некогда дворец — оказался серьезен и старомоден. Высокая большая комната, куда провели их, была расписана старинными узорами — потолок в милых гирляндах плодов и цветов, амуры и стрелы, летящие гении по карнизам стен.

Ужинали внизу в ресторане. Потом Элли и Таня поднялись к себе, Глеб же пошел побродить. Не хотелось еще ложиться, да и Вероны он не знал вовсе.

В итальянской ночи незнакомого города, когда по узкой улочке сплошь в ровных плитах, перед освещенными еще витринами проходят изящные офицеры в голубых плащах, чёрных сияющих крагах, позвякивая длинными саблями, когда слышится женский говор и легкие девушки пробегают, постукивая каблучками, пахнет сигарами, духами, овощами и тем нерассказуемым запахом древнего южного города, что пленяет всегда — в этом есть великое очарование и прелесть, навсегда западающие. Да, вот теперь «настоящее», мог бы сказать Глеб, в волнении и поэтическом возбуждении неторопливо направляясь к могильному памятнику Скалигеров. Да, это не Тауэнцин штрассе. Совсем не Тауэенцин штрассе.

Данте встретил Глеба на небольшой, слабо освещенной и пустынной площади, по которой некогда ходил. Теперь стоял перед Palazzo del Consiglio, на каменном пьедестале, каменно молчаливый, в венке из лавров, всегда похожем на венец терновый. Нос его как всегда горбился, нижняя челюсть выступала. У ног спали голуби. От шагов Глеба сонно вспорхнули и перелетели под аркады дворца.

Глеб сел за столик простенького кафэ, под открытым небом. Оно скоро уже закрывалось. Никого больше не было, Глеб сидел за чашечкой кофе. Данте был безглаголен. «Вот бы куда Карла Ивановича!». Глеб улыбнулся даже. «Ну, конечно, он здесь бывал, всё отлично знает...». Но не хотелось ни о чем думать, он сидел в тишине итальянской ночи, на этой площади города — единственного не проклятого каменным молчальником — сидел и молчал и сам наполнялся безглагольностью вечности.

Башенные часы пробили одиннадцать. Глеб допивал свое кофе. Шляпа его лежала рядом, Данте смутно белел в нескольких шагах. Над ним, как и над Глебом, стояли звезды. И в этой тишине, чуть прерываемой иной раз одинокими шагами проходящего да негромкими словами камерьере, собиравшего и уносившего внутрь кафэ столики — вдруг сверху медленно, винтообразно кружась в полете несколько таинственном, спустилось голубиное перо, маленькое и легкое — село на плечо Глеба. Оно было почти невесомо. Оно было почти не вещь. Откуда пришло? Голуби спали. Сколько оно плавало, куда носил его теплый ток? Но прилетело.

Глеб снял его, в некоем волнении. Данте безмолвно стоял. Данте был совершенно безмолвен.

С этим перышком Глеб возвратился в альберго. Элли и Таня спали.

— Ах, это ты...

Элли сонно приподнялась, улыбнулась и легла на другой бок.

— Я рада, что ты вернулся. Я рада, что ты жив.

И мгновенно опять заснула.

**
*

Утром он рассказал ей о перышке. Это вполне было в духе Элли, ей очень понравилось.

— Мы теперь всюду будем возить его с собой. Таня, правда мы будем беречь перышко? Оно будет у нас волшебное.

Таня могла поправлять ее в делах кухонных и хозяйстве, но в таких беззаветно склонялась.

— Будем возить, моя радость. Мы его всюду с собой повезем и будем его любить.

Глеб передал женщинам маленький свой палладиум и с Танею перышко следовало теперь всюду за ними. Побывало на Piazza delle Erbe, любовалось сутулокой, пестротой рынка, над которым скромно восстает Мадонна, журчит фонтан и воздвигаются разноцветные дворцы. Подымалось за рекой в отвесные сады Джусти, откуда видна вся Ломбардия чуть ли не до Милана, и на другой день уехало с хозяевами в Венецию.

— Оно у нас чудное, говорила Элли, разглаживая его нежным прикосновением. — Оно будет нам помогать, охранять нас.

Элли любила такие штуки. В заповедной шкатулочке везла с собой щепотку московской земли. («Когда умру, это со мной в могилку», говорила Глебу). Ехала с ними в коробочке и горсть флорентийской земли, память их молодости. Некогда на вилле Петрайя Элли в итальянской восторженности вдруг стала раз-

рывать в саду землю и собирать в сумочку. Подошел старичек садовник, посмотрел не без удивления. На вопрос для чего это, Элли ответила, что увозит с собой в Москву, на память: потому что любит Флоренцию. Старичек улыбнулся, сказал:

— Signora e molto entusiastica.

Так и странствовал этот прах, мелкий, серо-коричневый, в русской сумочке по русским землям, а теперь вот, в смиренном облике, возвратился на родину, рядом с московской землей.

**
*

Во Флоренции Таня не без удивления смотрела, как мать целовала бронзового кабана близ рынка. (А в молодости подвязала ему раз на морду ленточку). Струйка кристально-хладной воды лилась из кабаньего зева, Элли смеялась, брызгала на Таню водой и сквозь смех даже слезы блистали в ее глазах под сентябрьским солнцем Флоренции.

— Он чудный, кабан, чудный, Таня — посмотри какой удивительный!

— Очень красивый, радость моя...

Таня была еще мала. Она выросла в том, что всё, что делает или говорит «главная всей России» — необыкновенно и непредсказуемо. Так что удивление длилось минуту, а потом быстро всё вошло в норму: если чудо мое восхищается, значит есть чем — духа критики в Тане еще не было, и хоть сама она кабана этого никак бы не поцеловала, всё-таки восхищалась сейчас без затруднения: по доверию.

Глеб, как и Элли, находился в состоянии некоего блаженного полоумия: дня ему было мало, глаза неустанно глядели, ноги неустанно носили. Эти дни во Флоренции как бы повторяли для обоих времена мо-

лодости, как бы побеждали само время — побеждали и страшное пережитое российское.

Таня покорно ходила, покорно смотрела и одобряла, но утомлялась, и для нее это было, конечно, не то. И Глеб и Элли вполне понимали, что держать ее долго в таком мире нельзя.

И они тронулись на тихую жизнь в Барди, близ Генуи.

Рыбацкий этот поселок, на берегу моря открыли революционеры царских времен.

Некогда русский писатель поселился недалеко, в Сори, вокруг него стали ютиться более молодые, так и отпочковалась некая горсть для Барди, понравившееся чудесным пляжем (редкость на генуэзском побережьи), простотой рыбацкого населения, прелестью окружающих гор в лесах, мирно благоухавших. Немирные русские, вроде тех, что в бандитских шляпах разгуливали по Арбатам и чьи шрифты, прокламации прятала Элли у себя в московском диване — именно они и поселились среди лигурийских рыбаков, понемногу привлекая к себе и других.

Глеб и Элли бывали здесь и до войны, Барди любили как итальянское Прошино. Странный быт изгнанников был им знаком. Помнили «каторжную виллу»: высоко, в виноградниках и оливках, целая компания русских сняла большой дом — все они вместе бежали из Бутырской тюрьмы: времена довольно таки простодушные! С ними бежала и их надзирательница. И над Барди, среди виноградников, пред дивным видом на море, основали они как бы коммуну. Только не трудовую. Трудиться не приходилось — их поддерживали со стороны, а они, как и все эмигранты в Барди, вели жизнь праздную, достаточно горестную и неврастеническую.

Но подошла революция. Сколько восторга, надежд! Барди опустело. Все, кто выжили — почти

сплошь народники — уехали в Россию, сначала в опьянении успеха, а потом чтобы вновь познать прелесть борьбы с прежними своими соперниками по революции: но не такими противниками, совсем не такими, в каких прежде бросали бомбы. И Сибирь, лагеря, стенка вновь выросли перед ними в небывалых размерах.

Из прежнего населения Барди остался один Эдуард Романыч, давний знакомый Глеба и Элли, литератор народник. С этим Эдуардом Романычем Глеб и списался. Он нанял им целый этаж в доме синьоры Джулии, несколько выше здания станции.

Джулия, полная и благодушная итальянская mamma, встретила их как своих, давно знакомых. По настоящему знакома она и не была, но это russi, amici del signore Edoardo, русские же находились здесь вообще на хорошем счету: странные люди, конечно, но простые. Иногда шумные, много пьют, но вполне обходительные и часто добрые — такой же, приблизительно, взгляд был и у русских на обитателей Барди.

— Я помню синьору, говорила Джулия, ласково блестя карими глазами: еще до войны. Но тогда у синьоры не было дочери.

И отворив во втором этаже ключем дверь, ввела в просторную светлую квартиру окнами на дорогу, на станцию и за ней море.

— Ах, прелесть!

Элли чувствовала в себе самой кипение итальянской крови. В глазах, в улыбке синьоры Джулии было для нее нечто от собственной mamm'ы с Земляного вала. Море как будто бы ей принадлежало — в сиреневой его тишине был тот мир, какого и надо ей было. Когда Джулия привела ее в кухню, и объясняя по хозяйству отворила окно, выходившее в другой, горный, садовый и лесной мир, и оттуда потекло сладкое благоухание лимонных и апельсиновых дерев, смешанное с запа-

хами овощей в огороде, а издали донеслось веяние смолистых лесов, Элли даже ослабела от блаженного ощущения отдыха и какого-то райского привета.

— Да, да, molto grazie, бормотала бессмысленно, и не очень-то слушала объяснения Джулии где шкафы для белья, где посуда, как затапливается плита. Это всё не было важно. Но здесь Италия, а не герр Бунге. За небрежение кухонное тут никто не осудит.

Обзор хозяйства закончился указанием на укромное место — Джулия распахнула дверцу и перед некиим мраморным сидением с торжеством заявила:

— Latrina inglese!

Это была гордость виллы, недавно проведенная канализация. И в подтверждение слов мощно дернула она за рукоятку, мощный ток воды, как в фонтане Треви, вскипел в раковине и омыл каррарский мрамор.

Въехали и разместились быстро. Всё пришлось сразу к месту и уже через час и Элли и Таня чувствовали себя дома. Глеб раскладывал свои книжки, рукописи. Таня поставила на комод с раковинками московский образок Николая Чудотворца, а рядом перышко из Вероны. Тут же, в коробочке, земля Москвы и Флоренции — всё в порядке.

— Таня, у нас нет сахару! Пойдем, купим... тут где-то близко, я помню... такая лавочка, синьоры Кармелы.

— Идем, чудо мое.

Лавочка Кармелы оказалась действительно через дорогу.

— Погоди, Таня, как это по-итальянски? Ну, сахар, конечно, zucchera, вроде как по-немецки. А куковой?

Таня скромно заметила, что по-итальянски еще ничего не знает.

— Ах, конечно, я просто сама стараюсь вспомнить...

И в момент, когда входили в лавочку, Элли вдруг просияла. — Вспомнила, вспомнила!

Теперь Кармелы, некрасивой итальянки с усиками уже не было. Ее дочь, тоже с тенью на верхней губе, приветливо им улыбалась.

— Signorina, prego... zucchera... in pezzi...

От прилавка обернулась к ней лицом худенькая высокая девушка с миндалевидными темными глазами, тонким носом без переносицы, как на этрусских вазах. Когда увидела Элли и Таню, по лицу ее пробежало нечто, как бы тень облака, и когда тень прошла, открывая прошлое, вдруг сдавленным, приятным, но и неуверенным голосом она сказала:

— Èlena?

— Мариуччиа! Это я, Èlena, милая, мы опять здесь...

Пред глазами Кармелиной дочери Элли и Мариуччиа обнимались и целовались.

Да, это и была та тоненькая девочка Мариуччиа, что с давних времен приросла к русским. Жила некогда с бабкой, fratello служил в Специи, а в конце концов просто она сиротка. Около наших народников прижилась как бы дочь полка. Понимала по-русски. Некая Леечка выучила ее читать, она вовсе овладела языком, говорила лишь с милым итальянским акцентом. И забираясь на гору Сант Анна, пред сиреневым морем читала она вслух Леечке Толстого.

Глеб и Элли хорошо ее знали, одно время, когда Элли носила Таню во чреве, Мариуччиа даже служила у них, помогала на вилле. И теперь вот тут...

— Ну как? Что? Хорошо живешь? Замужем?

— No, no, Èlena, cara...

— Да ты по-русски ведь говорила?

Мариуччиа засмеялась.

— Да, прешде... теперь забивать стала.

— А это дочь моя, Таня, ты ее никогда не видала.

— Oh, che bella fanciulla... А муш?

Элли подтвердила о Глебе.

Таня была смущена, но поняла, что ее одобряют. Мариуччиа со своим длинным и тонким носом, этрусским профилем ей очень понравилась.

Волнуясь, перебивая друг друга, перескакивая с одного на другое бессвязно они болтали — Элли и Мариуччиа.

— Senta, сказала, наконец Элли: мы тут рядом у Джулии. — Пойдем к нам, расскажешь про себя...

Мариуччиа подобрала свою сумку с покупками и сказала, что сейчас не может, должна идти кормить бабку — всё еще она жива, хоть и полупарализована.

— А как можно будет, то сейчас же... vengo subito.

— Да, непременно. Слушай, Мариуччиа, а твой брат?

Мариуччиа опустила голову.

— Morto. Убит на войне...

Голос ее дрогнул.

— Я одна теперь. Что поделаешь. Бабушка совсем старая. Не слышит. С ней почти нельзя говорить.

Она опять улыбнулась, как бы через силу. Кивнула Элли, загрубелой рукой нежно провела по голове Тани и быстрой, изящной, как бы древней походкой предков с этрусских ваз, удалилась.

Элли была взволнована. Барди точно бы раскрывалось. Выпускало былое. Ощущение это усилилось, когда поднявшись к себе увидала она в столовой Эдуарда Романыча.

— Батюшки! Вот чудно! Милый, здравствуйте... Это моя дочь.

Эдуард Романыч, маленький, волосатый старичек в чесунчовом пиджачке, в очках, пожимал ей руку.

— Извините, что не встретил. Никак не мог, никак. Нельзя, даже для такого случая.

В Барди считался Эдуард Романыч вроде алхими-

ка, колдуна и великого знатока болезней. Нынче ему пришлось идти за три километра в горы: девочка одна обварилась, он мазал ей маслом ножку и заговаривал ожог.

— Ничего не поделаешь. Знаете, туда в ущелье, наверх. Там одна casa такая, синьоры Лукреции. Вот девчонка и дала маху, пришлось ее подправлять. Лукреция говорит: «Я докторам не верю, а вот если синьор Edoardo захочет, сразу бамбину вылечит».

Джулия, помогавшая нынче, для первого дня, обратилась к Элли.

— Синьор Edoardo очень хорошо помогает. У нас все его тут зовут.

Эдуард Романыч притворно хмурился.

— В Италии медицина не совсем на высоте. Посмотрели бы вы их деревенских врачей.

Джулия поставила фиаску темно-тяжеловатого Barolo. Спагетти и курица, горгонзола из Генуи — всё должно было согревать путников, подымать, веселить встречу. Оно так и вышло. Все были в духе. Даже Таня, трудней других привыкавшая к чужому, шепнула матери: «мне тут очень нравится», — она всего не договаривала, да и не могда бы словами передать, но простота, простор, что-то домашнее в этой вилле казалось знакомым — не возводило ли незаметно и ко временам Прошина?

Глеб охотно вкушал Barolo и чокался с Эдуардом Романычем. Элли рассказывала, как она встретилась с Мариуччией.

— Хорошая девочка, говорил Эдуард Романыч. — Нелегкая жизнь. В работе, в работе... Замуж не вышла, всё с этой бабкой. Постоянно вспоминает наших русских, которые тут жили. Кажется... это лучшее было для нее время.

Разговор перешел на русских. Вспоминали общих знакомых, прежнюю жизнь. Эдуард Романыч стал вол-

новаться, несколько пыхтеть. Бородавки на его лице русско-лигурийского колдуна и клочья небритой шерсти зашевелились в такт душевного возбуждения.

— Да, были, да... Не отрицаю. Люди были. Но вот революция... — ну, это Бог знает что, а не ревслюция. Должно было быть всё другое... А они все одурели, сейчас же домой бросились — этот будет министром, тот послом... Всё пустяки. Вот теперь и населяют тундры севера.

То, что в Россию не возвратился, Ленину не поверил, Эдуард Романыч ставил себе в заслугу. Он всегда Ленина презирал, не за то, что тот был революционером, а за то, что революцию делал не спросясь Эдуарда Романыча.

— Проходимец... над народничеством всегда издевался. Русского крестьянина... не понимал. Общину никогда не ценил. Вот его городам жрать сейчас и нечего. И приходится выдумывать разные Нэпы...

Глеб спросил:

— Эдуард Романыч, вам в деревне подолгу приходилось жить?

Эдуард Романыч налил себе еще вина.

— Более в острогах проживал-с и ссылках. Да это неважно. Вовсе и не нужно жить в деревне, чтобы быть народником. Есть наука, есть статистика... есть политическая экономия. Наука утверждает, что победит община, как бы там разные марксисты ни шипели. А вот вы изволили как раз в деревне немало жить... если не ошибаюсь, в одной из центральных губерний? Как там народ? Наша партия?

Неожиданно вмешалась Элли.

— Эдуард Романыч, я в деревне голосовала за вашу партию...

Он одобрительно посопел.

— У нас Кимка был, работник. Болван страшный,

но хороший малый. Когда началась война, он мне раз говорит: «Лена, Лена, знаешь... Италия такая... гы-ы-ы... ну, Италия... так тоже воевать начала... гы-ы...» А когда подошли выборы в Учредительное Собрание, спрашивает: «Лена, Лена, за кого будем подавать?». Я говорю: «За эсеров, Кимка, за номер третий». Он задумался, почесался. «А нам с тобой за это по шее не дадут?». «Да кто же даст-то?». «Да большевики... смотри, дадут нам по шее». Ну, мы всё-таки за вас голосовали.

Глеб добавил:

— И никто по шее не дал. Так что при всей мудрости своей народной Кимка тут ошибся.

Эдуарду Романычу рассказ этот не весьма понравился. Он посапывал и тянул свое Barolo. Кое о чем, однако, и сам спросил, тоже остался недоволен. Выходило не совсем так, как ему нужно было.

— Во всяком случае статистика и политическая экономия сильнее случайных наблюдений. Община победит.

Разговор, однако, на общине не задержался. Итальянское солнце спокойно ушло за тирренское море, к Генуе пролегли по нем серебряные дороги, фиаска понемногу пустела и предметы более мирные заняли внимание русских: Эдуард Романыч показал Тане камешки, которые он собирает на пляже. Это любимое его занятие и одно из немногих развлечений.

Тут он имел много больше успеха, чем с общиной. Не только Таня, но и Элли и Глеб ахали над изящными голышами — веками обтирали и облизывали их волны, веками шуршали они среди других своих сотоварищей по пляжу, и стихийный труд этот создавал из разных их пятен и прожилок иногда удивительные узоры, а то и целые рисунки — морду льва, лестницу, башню.

Таня воодушевилась

— Эдуард Романыч, я тоже буду вам помогать. С завтрашнего же дня.

***

Глеб вышел с Эдуардом Романычем, вместе шли они в синеве ночи до поворота: Эдуарду Романычу вверх по тропинке, Глебу налево, к морю — он хотел побродить в одиночестве.

О, как знал он этот проход под насыпью, по которой проносятся поезда в Рим, Геную! Мягкий песок пляжа, где сначала нога как бы тонет, а потом привыкаешь, и дойдя до узкой полосы, атласящейся от вечных набегов волн, идешь по ее твердой, лоснящейся поверхности уже совсем вольно.

Глеб именно шел. Месяц стоял над Сестри, Венера в златисто-зеленоватой прозрачности клонилась к водам, ночь влажна и душиста. Мягко ухает море — всё так же мягко, как и много лет назад, в другой жизни, когда впервые попал он в это Барди и вот так же, в благоуханной тишине ночи вышел к морю. Как смятенна была его душа! Как нуждалась в спокойствии и умиротворении! И как сразу же это мерцание звезд, аромат лесистых долин, запах моря и слабо-бухающий, довременный плеск его вдруг обняли, омыли, успокоили... Стало легче дышать и вот он тогда так же шел, и на тоненькой кампаниле Барди, где позже он прочитал надпись: «Dominus det tibi fortitudinem» — часы медленно стали бить, возвещая с высоты Божьего дома мир и благоволение всем душам, всем бедным, заблудшим и грешным, как и великим святым.

«Да, этого никогда не забыть...». Но сколько перемен! Вот в доме Джулии Таня завязывает косички, Элли ложится, а как легла и о чем думает сейчас мать

в Прошине? Ксана, Прасковья Ивановна... Вот прошло больше года. А они всё дальше заезжают, и эта Италия — лишь остановка. Там, за горами, за Альпами уж и Париж.

В комнате Кривоарбатского, заваленной чемоданами, Геннадий Андреич обнимает Элли. «Чудно бы во Флоренции встретиться...». «Нет, голубчик, мы во Флоренции не встретимся...». И на другой день извозчик, увозящий мать в пролетке, огибает угол Плющихи и мать медленно уплывает с ним в пространство.

Возвращаясь домой, Глеб прошел несколько в сторону и подошел к церкви. На кампаниле, в свете высоко стоящего месяца, он разобрал надпись:

— Dominus det tibi fortitudinem.

ТИШИНА БАРДИ

Сколько бы Элли ни увлекалась в юности Ибсенами, Гамсунами, российскими символистами, как бы ни ужасался тогда Геннадий Андреич, что вот она принадлежит к богеме и «декадентам-с», в ней сидел дух земель московских, русских предков, рода, семьи. С годами это росло. А заграницей еще сильней проявилось. В России отец, мать, Земляной вал, сестры Анна и Лина, и нисходящее потомство, неукоснительно разрастающееся. Всё это *ее* мир, в нем она родилась и выросла, потому и менее замечала, пока была в Москве — как не замечает человек воздуха, которым дышит: воздух и воздух, так и надо. Когда же он заменяется другим...

В Германии слишком еще была занята новизной жизни, да и Россия казалась под боком, ну, уехали, Глеб отдохнет, оправится, в это время и дома многое переменится — можно будет вернуться, свободно работать. Так что всё это — лишь некоторые каникулы. А свой, московско-семейный мир Земляного вала всегда с ней и разрыва нет.

Всё-таки и тогда переписывалась она с домом жадно, главнейшее с Анной. А теперь, основавшись более оседло, первым делом занялась письмами в Москву — матери, отцу. Писала быстро, восторженно, фразы мчались обгоняя друг друга. Глеб, Таня, Италия, Барди... — тот самый отец, с которым раньше и ссорилась, и которого в детстве боялась, теперь придвинулся, да, это всегда свой, кровный и настоящий. Вот

Анна пишет, что ее старшая, Лизочка, уже замужем, скоро будет младенец, у Лины тоже не сегодня — завтра внуки, всё это и восходит к отцу с его монетами и печатями, к матери и небесным ее глазам. Являлась у Элли и некая семейная гордость.

— Мой отец очень известный нумизмат, говорила она Эдуарду Романычу, бывавшему у них постоянно. — Его знают и европейские ученые, а про Москву и говорить нечего.

Эдуард Романыч набивал табачком гильзу из вековой интеллигентской машинки, приехавшей еще из России, совершенно такой же, какой отец Глеба набивал свои папиросы в Прошине.

— Нумизматика, археология... почтенно, но далеко от жизни. К живой жизни русского крестьянства не имеет отношения.

— А что же, чтобы все общиной вашей занимались?

Эдуард Романыч придерживал желтыми от табака пальцами папироску, мрачно ею попыхивал.

— Община не моя, а российская. Россия крестьянская страна... социальный вопрос всё равно впереди всего, а в России приводит он тотчас к общине.

Элли к общине была вполне равнодушна. Но сочла, что нечто тут задевает отца, рассердилась.

— А по-моему, мужики только и хотят каждый иметь свое, какая там община.

Тут он запыхтел уже не без грозности.

— Об общине вы знаете мало. А если бы были осведомлены в специальной литературе, то...

— Какая там специальная литература! Я сама годы в деревне жила...

Стычка могла бы быть бурной, но вот входит Таня.

— Эдуард Романыч, какая завтра будет погода?

Он побуркивает еще, но при виде Тани смягчает-

ся. Она поклонница его камешков приморских, восторгается сама и даже недавно подарила ему довольно ценный образец.

— Погода, погода... Я разве предсказатель?

— Мне Мариуччиа говорила, что вы всё знаете. Вы как-то по луне, по облакам, по ветру высчитываете... А мне бы хотелось, чтобы завтра хорошо было — Мариуччиа обещала свести в горы.

Он подходит к окну, посвистывает, рассматривает море, белые барашки на нем, садящееся солнце.

— Когда Корсика на закате видна, значит завтра хорошая погода...

Отворяют окно настежь, облитые нежным закатным огнем ищут в вечернем ветерке Корсику.

— Вон она, вижу...

Таня видит, действительно, в эфирной дали полупрозрачный силуэт — не то горы, не то замки — еще какой-то новый волшебный мир, кроме особенного этого, полного уже вечернего благоухания апельсинных рощ и тихих лесов по ущельям Барди, в одно из которых, в гости к синьоре Лукреции, поведет завтра Таню Мариуччиа. Ну, вот и слава Богу, что хорошая погода.

***

Элли и Мариуччиа сидят на высокой скале над дорогою в Сестри. Место это называется Сант Анна. Некогда тут был монастырек, близ древней римской тропы-дороги: по ней шествовали мулы легионов с поклажей в Галлию.

Сейчас тут лес, благоухание, тихий гул, звон в вершинах сосен, солнце. Мелкие ящерицы по камням на припеке, и перед глазами, как туманно-сияющая бездна — море. Оно дышит смутно. Как будто само вхо-

дит в воздух, сливается эфирною своею синью с ним, под солнцем же местами блестит белым, как снеговое поле.

— Под этой пинией, Èlena, я любила сидеть с Леей.. Мы тут читали вместе. Она мне рассказывала о вашей стране. Она была худенькая такая... хорошая, и как это по русски: una ebréa?

— Еврейка.

Элли вздохнула.

— Мариуччиа, как у вас тут прекрасно... Да, прекрасно, но вот мне сейчас грустно... не знаю сама. Всё о своих думаю, там, в России. А тебе бывает иногда грустно?

Мариуччиа подняла на нее огромные, продолговатые глаза.

— Мне, Èlena, всегда грустно. Вот я и вспоминаю... вот, что раньше было. Лею вспомнила. Ах, я рада, что с вами опять встретилась.

Мариуччиа опустила голову. Предвечернее солнце обрисовало на камне тонкую тень ее носа.

— Èlena, я ведь совсем одна.

Элли полуобняла ее, поцеловала в белую полоску по средине головы, узенькую, ровно разделявшую смоляно-черные, гладко причесанные и блестевшие волосы.

— Мать тоже умерла?

— Si. Когда узнала, что убит figlio... Она, она...

Мариуччиа спрятала лицо на плече Элли.

— Как прочитала телéграмму... побледнела и... ecola morta. Subito.

Она откинулась немного, как бы изображая: вот так мать умирала.

Элли гладила ей на голове волосы.

— Ты всегда была ласковая, Èlena. Ты, как это сказать по русски: светлая? Ну, come il sole.

И неожиданно поцеловала она ей руку.

— Я отлично помню и тебя, и tuo marito. Но тогда вы приезжали сюда будто в гости. А теперь... emigranti?

Элли стала рассказывать. Мариуччиа понемногу успокоилась. Но задумчивость продолжала ее осенять, как на них самих надвинулись удлинившиеся тени сосен.

Мариуччиа будто о чем-то думала. Потом тихо спросила:

— Значит, ты оставила там, a Mosca, всех родных? И Glieb тоже?

— И Глеб.

Мариуччиа подняла на Элли темнеющие свои, с влажным блеском глаза.

— А тебе не было страшно?

Элли слегка смутилась.

— Как страшно? Почему?

— Sono molto vecchi... старые. А если без вас умрут?

— Мы ведь надеемся вернуться.

Элли произнесла именно это, и уста ее лучше говорили, чем сердце. Хотелось еще что-то добавить словами, увязать сердце покрепче, чтобы вернее было.

— Да, да, ты понимаешь... как сейчас в России. Невозможно. Глебу там нельзя писать, пока не изменится, нельзя.

И она почувствовала, что дело крепче. Стала рассказывать, какая в России жизнь, что происходит. Мариуччиа лежала теперь на спине, закинув руки под голову. Слушала внимательно.

— Non c'è libertà... — a Lea говорила тогда, что они стараются, чтобы в России была свобода. Значит не удалось, Èlena?

— Не удалось. Из тех, прежних, многие как раз погибли или оказались в ссылке.

— A Lea жива?

— Не знаю. Может быть, Эдуард Романыч знает. Он из одной с ней партии.

Мариуччиа усмехнулась.

— Signor Edoardo...

— Ты чего это? Он особенный, но достойный человек.

— Я знаю, скромно ответила Мариуччиа. — Конечно.

Потом вдруг поднялась, и уже сидя, глядя на Элли прямыми, без всякого лукавства глазами, в которых опять была грусть, добавила:

— Не люблю его. No, Èlena, я его не люблю.

Элли несколько удивилась.

— За что же?

— Гордый. Очень. Я его знаю. Почти одним хлебом и чаем питается — ему чай присылают da Parigi, у него там друг. А от нас, здешних ничего не возьмет.

Дочь полка знала всё. С детских лет, когда мать еще была жива, помнила она этого signore Edoardo, так же как теперь жил он в той же пыльной комнате у синьоры Марты, вдовы рыбака, высоко над Барди, средь оливковых деревьев.

— Когда я была девочкой, он дарил мне такие же камешки, как теперь твоей Tania. Он не похож на других, e vero, я его не совсем понимаю.

— А ты Глеба моего понимаешь?

Длинные глаза Мариуччи выразили некое замешательство, смесь смущения и сочувствия. Она даже слегка покраснела.

— Русские все писатели. Я их много видела.

Элли улыбнулась.

— И все чудаки?

— Нет, Èlena, я не то говорю.

Она опять полуобняла Элли, посмотрела на нее долгим взглядом.

— Я тоже тебя... e tuo marito давно знаю, но это

другое. Èlena, я вас всегда... вы уж будто родные. A signore Edoardo — другое. Он... конечно... но он вроде stregone.

— Колдун?

— У нас некоторые так говорят. Но я не верю. Не колдун, а колючий, еж...

Элли вспомнила заросшую, в буграх и клочковатостях голову Эдуарда Романыча, его маленькую сутулую фигурку, нескладность и действительно какую-то шершавость — и засмеялась.

— То колдун, то еж...

— Наши девушки ходят к нему гадать, он карты хорошо раскладывает, но его все боятся.

— Очень уж вы робки, ragazz'ы. А вот погоди, к нам приедет Ника с женой, увидишь еще русских и тоже, пожалуй, скажешь, что они stregoni.

Мариуччиа замолчала, несколько была смущена. Не слишком ли много наболтала? Про русских, про signore Edoardo?

Они вскоре поднялись и по старой римской дороге, а потом просто по тропинке чрез оливковую рощу с серо-змееобразными стволами в буграх и мелкой серебристой листвой спустились вниз к Барди.

Здесь вечер сильней чувствовался. Солнце уж за горой, глубокие тени на прибрежных скалах и весь пляж в тени, и линия железной дороги. В клубе белого дыма резво катил в Рим экспресс. У переезда шоссе женщина с огромным животом подняла флажок и опустила шлагбаум — перед ним остановился ослик в двуколке с худым стариком в соломенной шляпе.

Поезд весело прогрохотал и влетел в туннель, откуда медленно стал выходить потом дым, как из ружейного ствола послє выстрела.

Мариуччиа простилась с Элли: надо идти к бабке. Элли же, не доходя до своего дома, издали увидала Глеба и Таню. Они видимо возвращались с пляжа.

Таня тряхнула косичками, побежала к ней.

— Радость моя, без тебя телеграмма: завтра приезжают Ника и Марина.

**
*

Глеб сидел на скалах, недалеко от пляжа. Рядом туннель и дорога в Сестри. Внизу волны играли — набегали и отпрядывали, оставляя белый узор-кайму. А сами, зеленые и прозрачные, охватывали в лобзании прощальном все неровности, шишки, ложбинки камней этих, некогда свергшихся с гор, а теперь мирно лежавших — русские часто на них сидели.

Но скатилась волна, а потом вновь как ухнет! — тут уж белые брызги фонтаном. Да еще это сентябрь, в ноябре так будет заливать дорогу, что и не пройти по ней в Сестри.

Нынче теплый вечер, облачный. Море покойное, серо-сиреневое. Корсики не видать.

Утром Глеб получил письмо из Москвы, от приятеля. Читал уже его, сейчас перечитывает.

Приятель провел часть лета в Прошине — мать, которую все называют как и прежде «бабушка», всё еще живет там, даже в прежнем доме. «Бабушка всё такая же, т. е. изумительная. Здорова, бодра, бесконечно хлопочет по хозяйству и не поддается ни на какие уговоры — хоть сколько-нибудь передохнуть. Во флигеле теперь изба-читальня, летом пустовавшая. В цветнике были цветы, дорожки расчищены, по прежнему перед главным балконом шар. А другая терраса, деревянная, почти завалилась. Там нельзя уже пить чай, как прежде...».

Да, терраса, утренний чай. Теперь завалилась, да и всё завалится, это уж так. На террасе этой по утрам отец пил чай, курил, читал Диккенса, или Щедрина, хо-

хотал над ними до слез и закладывал страницу спичкой, чтобы не забыть, где остановился. «А то придется опять перечитывать всё с начала». На Глебовы именины на этой террасе к обеду подавали пирог, индюшку, являлась и бутылка шампанского. Приезжали приятели из Москвы. И вот пишет то это как раз один из уцелевших.

Мать, слава Богу, здорова. А лет ей уж много, клонит к восьмидесяти. Он иногда видит ее во сне. Но не так, как изображено в письме. Не в этом простом жизненном тоне. Во сне и она и всё Прошино погружены в печаль. Всё как будто на месте, и дом, и флигель, но и всё в мертвом запустении. Мать, с палочкой, в зимней бобровой шапке безмолвно проходит мимо амбара, останавливается, опять куда-то бредет. Да, уж конечно сон, а всё-таки и другой мир, всё будто с того света.

Сны эти действовали на Глеба довольно сильно. Отец ушел вовремя, на своей постели скончался еще в Прошине. А мать... — Как о ней не думать? Иногда начинал он даже впадать в фантазии — как бы ее сюда выписать, если они останутся заграницей долго.

Но сейчас в это не стал вдаваться. Вдалеке, на пляже, видны несколько рыбаков, Таня и Ника разговаривают с ними. «Рыбу, наверно, вышли покупать, только что пойманную...».

Он подымается, спрятав письмо в карман медленно идет вниз по тропинке и потом по пляжу, по твердой атласной полоске у самой воды, с ракушками, медузами, всяким морским добром.

Рыбаки отплывают. Босоногий юноша отпихнул лодку от берега и пробежав несколько шагов по кипуче-набегавшей волне, вскочил на корму. Другие два ставили в это время парус — оранжевый в заплатах. Чуть поколыхиваясь, двинулось суденышко, подобно тем, вечным, на Генисаретском озере, в простодушный

путь к Сестри. Кое-что выловили, кое-что продали, и домой.

Ника и Таня не видали Глеба. Они шли по прибрежью вдаль. У Тани в руке маленькое ведерко, она им слегка помахивает. Вдруг они подхватились, болтая что-то веселое побежали вдоль прибоя, по твердому песку. Потом Таня остановилась, взмахнула ведерком, и выплеснула из него что-то в море. Ника, худенький, элегантный, в светлых штанах, с тонкою длинной шеей, выходившей из отложного воротника рубашки (что давало ему вполне юношеский вид), вдруг присел и на согнутых коленах, страшно загребая вперед руками, обошел два раза вокруг Тани — это называлось у них ходить драконом. Вряд ли в эйритмии доктора Штейнера такой номер существовал. Он являлся собственным творчеством Ники — выражал добро-восторженное состояние его духа.

Теперь они Глеба увидели. Таня со всех ног к нему бросилась.

— Папа, ты нас застал на месте преступления!

Но у нее был такой веселый вид, что на криминал походило мало.

Глеб улыбался.

— Что такое? Почему Ника вытанцовывает?

— Да ты понимаешь... Мариуччиа поручила нам купить рыбы у рыбаков, она там дома сейчас готовит. Мы и купили, а рыбки начали плескаться в ведре, нам стало жалко... их сейчас жарить начнут, или варить. Я говорю Нике: а если мы их назад, в море? Ты как думаешь? Он даже обрадовался, говорит: отлично, мне самому жалко. Бросай скорей, чтоб никто не увидел. Я и бросила. А ты как раз и увидел.

Подошел Ника и сделал Глебу некий приветно-торжественный знак рукою.

— Рыбы возвращены морю по голосу сердца ребенка. Приветствую стихию моря!

И он воздел над ним руки, как бы вступая в тайнодействие.

Глеб обнял Таню.

— Вон рыбы ваши наверно знакомым теперь рассказывают, как было страшно, когда их поймали и кинули в ведерко.

Дома Мариуччиа действительно занималась на кухне — Элли и Марина сидели в мариниой комнате и разговаривали.

— E dove sono pesci? спросила Мариуччиа.

— Niente pesci, слегка разводя руками ответил Ника.

— Мариуччиа, сказал Глеб: тебе придется сходить к Кармеле, взять... ну, ветчины, что ли, или спагетти, чего там вздумаешь. Они знаешь, что сделали — вот эти две фигуры: рыбу купили, а потом пожалели и выпустили. Прямо так в море и бросили...

— Santa Maria! Tania, правда, è vero?

— Мариученька, я сама схожу к Кармеле, папа даст денег.

Ника вынул пачку лир.

— Ecco denari...

И направился к себе в комнату. Там лежала на письменном столе кипа листков — он писал нечто мистико-философическое в штейнерианском духе.

Мариуччиа, оправившись слегка от итальянского остолбенения скромной девушки, для которой каждое сольдо ценно («выбросили в море!»), будто вспомнила что-то давнишнее, полузабытое, улыбнулась, вздохнула.

— Russi, russi...

И вместе с Таней, по мраморной лестнице мимо кабинетика с седалищем из каррарского же мрамора, побежала к Кармеле восстанавливать положение.

**
*

Элли и Марина подымались по тропинке. Она шла зигзагами — вправо, влево, иногда прямо вверх. Из под плит ступеней пробивалась кой-где травка. За невысокой оградой, местами и развалившейся, тянулись серо-блестящие оливки. По тропинке этой ходили некогда мулы, нагруженные корзинами с тучной землей, — на каменистую почву упорно выгружали ее, и вот теперь на подсыпанных террасах то ли огороды, то ли виноградники: всё это многолетний труд.

Кой-где навоз дымился еще, пестрели тряпочки в мусоре — удобрение с генуэзских фабрик. Пахло чем-то острым. В других местах виноградные гроздья свешивались за ограду. Их можно бы и срывать проходящим, здесь это дозволяется. Но ни Элли, ни Марина о винограде не думали: постоянно его ели.

— Высоко живет колдун, сказала Марина, слегка задохнувшись. — Погоди, переведем дух. Ты знаешь, при моей склонности к туберкулезу и слабом сердце...

Остановились на небольшой площадке. Марина прислонилась к парапету, спиной к горе.

— Море, море! Прелестно...

Сквозь мелкий узор листьев оливковых, а правее и совсем открытое, лежало внизу море, тихо серебрясь, сияя беззвучным струением. Серые, большие и выпуклые, кругловатые, как нередко у полек, глаза Марины трепетали — некоей нервностью.

— Очаровательная страна, но и странная. Вы, русские, очень ее любите, я знаю, да и мы, впрочем.

Марина всё это время была в непокойном, тревожном настроении. Всё представлялось ей в жизненном ее

устройстве не совсем правильным, и с Никой не весьма налажено — она была за ним вторым браком — теперь ей казалось, что это из-за того, что у нее нет детей. Скучала и по концертам, музыке. Конечно, Ника хочет работать, писать, ему тут удобно, но Барди дыра, даже рояля хорошего у Джулии нет. В Сестри убогое синема...

— Странная страна, повторила она с оттенком нетерпения. — Подумать, у Ники все бумаги в порядке, а мы лезем на эту кручу к stregone...

Элли засмеялась.

— Не сердись, Марина, влезешь.

Элли знала ее хорошо. И была уверена, что ничего у ней нет ни с сердцем, ни по части туберкулеза. Просто живое воображение и мнительность.

— Италия есть Италия. Эдуард Романыч здесь живет годы, его действительно все знают — и в Сестри, и в Киавари. Мы сейчас придем, он будет очень рад тебе помочь. Не спорь только с ним об общине. Это его злит.

— Мне, золотко, до вашей общины никакого дела нет.

«Вашей» значило русской. К русским относилась Марина со своей польской высоты несколько пренебрежительно. Она считала себя «европейской» женщиной.

«Casa» Марты, вдовы рыбака, находилась теперь в двух шагах. Такая же давняя, благородно-ветшающая, как и разбросанные кое-где здесь другие лигурийские cas'ы.

Всё-таки два этажа, двор с курами и девчонкой, робко указавшей древнюю лесенку, по которой они поднялись, постучали в древнюю дверь. Да, тут жилье Эдуарда Романыча.

Комната поклонника общины тоже ветхая и не без пыли. Много книг, пачки газет, журналы. Дере-

вянный стол, на котором брошюры и машинка для набивания папирос, просыпанный табак, раковинки и обласканные морем голыши. У старой чернильницы порыжелая от годов ручка пера.

Хозяин, в люстриновом пиджачке, поднялся на стук — такой же сморщенный и волосато-клочковатый.

— Очень рад...

Он и действительно был рад. Не так легко оказалось усадить пришедших, но и это устроилось. Два шатких стульчика всё-таки нашлись, сам же он приладился, именно притулился с папироскою во рту (в комнате и так накурено, душно) на краешке аскетической постели.

Марина огляделась.

— Тут у вас по особенному...

Эдуард Романыч молчал, покуривал, рассматривал ее. К Элли он уж привык. Считал хоть и фантазеркой, и неосновательной, но давно ее знал, будто своя. А эта нарядная дама, тоже нервная, но по другому, со своими браслетами, кольцами, запахом дорогих духов и слегка капризным, если не сказать надменным выражением выпуклых глаз казалась ему тоже не совсем обычной рядом с его старыми газетами.

— Вы уж меня извините, что побеспокоила не предупредивши. Элли сказала, что можно. У меня к вам маленькое дело. Я просительница.

Эдуард Романыч сочувственно наклонил голову.

— Представьте, мой муж получает из Дании от отца деньги. Едет в банк в Киавари, показывает паспорт, ему говорят: это, конечно, так, но мы вам все-таки по чеку не выдадим. Вы иностранец, приезжий, фамилия трудная — мы вас не знаем.

Эдуард Романыч улыбнулся.

— Обыкновенная история. Не роман Гончарова, а повседневность здешняя-с...

Марина закипала. В живом ее воображении вновь возникала сцена в Киавари, когда Ника смущенно мялся перед чиновником, путал слова и заплетаясь пытался доказать, что он именно и есть тот, о ком говорит чек. Чиновник же уперся и ни с места.

— Обыкновенная... мне дела нет до Гончарова, но ведь денег он нам не выдал. Хороша обыкновенная... Наконец, говорит: «А-а, вы из Барди... Да, знаю, там всегда русские жили. И там есть один такой... signor Edoardo. Его мы отлично знаем. Если он подтвердит, что вы действительно signor Bar-te-ni-ev тогда выдадим. А так нельзя. Ведь и сумма большая — тридцать тысяч лир!». Вот какие у вас тут порядки. Так что приходится вас беспокоить...

— Видите, Эдуард Романыч, какой вы могущественный, сказала Элли. — Вас на всем побережьи знают и вон как ваше слово расценивают.

Эдуард Романыч вынул изо рта папиросу. Легкая краска проступила на его лице. Не желая выдавать чувств, он сказал преувеличенно мрачно:

— Не первый случай. Когда наших тут было много... и получались переводы, меня не раз в Киавари возили. Помните — он обратился к Элли: у нас был такой... Косарев, тоже наш, хороший товарищ. Но вы над ним почему-то смеялись... хм-м... и звали Кобыльей головой.

— Помню. Я на него раз из второго этажа водой плеснула, мы были тогда молоды и всякие глупости устраивали. Я думала так, пошутить, брызнуть, а вышло, что здóрово его облила, он даже обозлился.

— Вот, вот, Кобылья голова. Ему особенно не везло. Как из Парижа деньги, так чиновник не верит, что он Косарев... именно скорее за Кобылью голову считает, как и вы тогда полагали. Значит, подавайте сюда Эдуарда Романыча, для удостоверения личности. А он был серьезный член партии, верный товарищ.

«И в общину твердо верил», чуть было не сказала Элли, но во время спохватилась.

Эдуард Романыч, конечно, охотно согласился доказать свое могущество.

— Мы возьмем хорошую коляску, отвезем вас с удобствами в Киавари, позавтракаем там...

— Это всё несущественно. Это неважно-с...

Марина немножко отошла. Другой ветер подул в существе ее, вдруг стало казаться, что всё хорошо, даже это логово отшельника с книгами, камушками, ракушками. Она попросила показать камушки. Он стал выкладывать свои коллекции.

— Этот особенно ценю: видите, на нем вырисовалась как будто японочка с зонтиком. Ведь это игра волн и трение голышей-с! В собрании моем номер первый.

Он пыхтел, клочковатости на лице его задвигались, он оживился и начались мечтания: коллекция его драгоценна; он продаст ее американцам за большие деньги, уедет в Париж и там издаст свою книгу об общине.

Элли знала всё это наизусть — книгу он пишет годы и всегда переделывает и всем рассказывает, но толку никакого. Глеб весьма даже подозревал, что вообще книга — миф, дающий ему возможность жить — груда бессвязных листочков, мелко и неразборчиво написанных. Не зря Мариуччиа считает, что все русские — писатели.

Сейчас в голове Элли было другое. Она чувствовала это, но не сознавала ясно. И только когда, поблагодарив, собрались уходить, вдруг спросила:

— А вы знаете что-нибудь о Кобыльей голове? Что он? Как?

Лицо Эдуарда Романыча изменилось.

— Знаю.

— Что же?

— Он имел глупость уехать в Россию. Вы вот верующая... в церковь ходите. Так поставьте свечку за упокой души раба Божия Василия.

Элли глухо спросила:

— Как же это случилось?

— По нашим сведениям-с, холодно ответил Эдуард Романыч, он вначале занимал какой-то «пост», а потом его нашли неподходящим, заподозрили и вывели в расход. Дело простое.

Спускаться от Эдуарда Романыча было гораздо легче, чем к нему подыматься. Спускались в обратных настроениях: Марина в нервном, почти веселая, Элли помалкивала. Уже близ виллы Джулии, проходя мимо неказистого двухэтажного дома с закрытыми сейчас ставнями, она сказала в задумчивости:

— Тут мы и жили с Глебом тогда... Еще и Танюши на свете не было. Из этого окна, из озорства, я и плеснула водой на Кобылью голову.

Когда подымались к себе наверх, по насыпи за дорогой пролетал, гремя, римский экспресс. В тишину Барди внес он свою обычную бурю, мелькая роскошными вагонами, рестораном. Элли вошла в столовую. Промелькнул последний вагон с надписью: «Roma-Parigi». В полуоткрытую дверь в комнату Ники видно было, как Ника, вскочив из-за стола, в такт бега поезда выбивал ногами дробь, барабанил пальцами по столу и прикрикивал-подпевал:

«Яро мчится дирета-ч-ч-ио
«Диретана-н-ндра-ка-ка-ччио!
«Яро мчится диретиссимо,
«Диретана-ндра-ка-киссимо!»

Марина махнула рукой.

— Что с вами русскими поделаешь! На каждый поезд вскакивает и приветствует своей чепухой, с Таней рыб в море обратно пускает...

Элли улыбалась.

— Оставь, он чудный у тебя.

— Да уж конечно, раз стихи пишет и занимается философией, надо что-нибудь такое вытворять.

Элли прошла к себе в комнату, по другую сторону столовой.

Благословенный свет наполнял ее, лился из открытых окон вместе с благоуханьем апельсиновых, лимонных рощ — это был тот свет Италии, который всегда пробуждал в Элли волнение и восторженность.

У комода со всякими безделушками, с фотографиями родных Джулии в рамках из раковинок, Таня стояла с метелочкой, перебирая мелочи, смахивая пыль. На лице ее была тихая улыбка.

— Радость моя, я как раз перед твоим приходом вынимала из чашечки папино перышко, которое в Вероне на козлика нашего спустилось. Я его поцеловала, обмахнула и опять поставила, и вот даже под этот стеклянный колпак, видишь, где Джулиины бронзовые часы — пусть под колпаком хранится, а то Мариуччиа будет убирать комнаты, по ошибке и выбросит.

Элли обняла ее.

— Храни, храни. Люби нашего книгеля.

Таня засмеялась.

— Это я его так называла, когда маленькая еще была, в Прошине. А ты знаешь, мы сегодня с Мариуччией ходили на кладбище, там ее мама похоронена. Она плакала на могилке. А потом сказала, что у них первого ноября праздник Всех Святых, и у кого близкие на кладбище, то на могилках вечером зажигают свечи, цветы приносят, сидят — будто в гостях у своих. И недалеко показала могилку, говорит: Tania (знаешь, она не может хорошо выговорить наше *я*), тут один русский похоронен, это давно было, но твоя mamma наверно помнит, она как раз тогда тут жила.

— Помню... нет, не при нас, но мы скоро потом

сюда приехали, и все говорили об этом. Он, кажется, утонул?

— Да, купался, утонул.

Таня прижалась слегка к матери.

— Он там один лежит. Мариуччиа сказала: к нему никто не приходит. Эдуард Романыч знал его, но он ничего этого не любит, а больше никого нет.

Таня помолчала.

— Его звали Антон. Он был из простых. Вроде рабочего. Я за него молиться буду... что ж он, так один. А еще, знаешь: в этот день, Всех Святых, пойдем к нему в гости. Снесем цветов, свечечки зажжем.

Элли слушала молча. Потом вскочила, обняла ее и поцеловала.

— Пойдем. Зажжем.

Свет вливался эфирной влагой, его волны втекали из окон, наполняли, переполняли комнату виллы Джулии. На глазах Элли блестели слезы.

***

Так, медленно и незаметно, из вседневных малых событий, слагалась жизнь их теперь, в этом Барди — таинственная ткань, которая с таким же постоянством, в разных направлениях прядется и для всех людей, пока дано им видеть свет Божьего дня. В Прошине были у матери в это время свои заботы и свои одинокие дни, в Музее у Геннадия Андреича другие, а для Глеба, Элли, Ники и Марины на мирном побережьи генуэзском третьи.

Взгляд Мариуччии на русских («все — писатели») подтверждался. Слева от столовой, в комнате с окнами на море, строчил Ника. Справа, с окнами вдоль дороги и на горы, Глеб. Но не так упорен был как Ника,

занимался лишь до завтрака. Ника тоже прерывал труд к часу дня, выходил худенький, побледневший, наскоро глотал что надо, острил в духе Владимира Соловьева (т. е. несмешно, но сам радовался), и пока Глеб еще утешался красным вином, горгонзолой и фруктами, убегал вновь к столу, на котором кипа листков росла с каждым днем.

Путешествие в Киавари оказалось удачным. Эдуард Романыч хмуро сидел в коляске рядом с Мариной — Ника напротив на скамеечке, как ученик. В Банке всё обошлось сразу хорошо. «Ah! Signor Edoardo, come sta? Sta bene? Anch'io, grazie. Sono i suoi amici? A, tanto meglio...» — на этот раз не спросили даже документов. «E amico del signor Edoardo»...). Марина была в восторге. Забрав у Ники половину денег, тут же угостила signor Edorado завтраком в хорошем ресторане с pollo arrosto и бутылкою Asti. Тут же клятвенно обещала теплый зимний жилет. А на обратном пути, когда проезжали мимо Воспитательного дома, велела извозчику остановиться, долго осматривала здание, восхищалась белыми младенцами-пеленашками на голубом эмалевем фоне над входною дверью — вечные медальоны della Robbia и остальную дорогу, до дому, была задумчива.

Пеленышки эти произвели в ней некий перелом. Не первый уже день, тоскуя что у ней нет ребенка, мечтала она взять приемную дочь — именно девочку, ангельски-евангельского ребенка (в Евангелии, смутно помнила, очень восхвалялись дети).

А теперь эти изящные медальоны. И надо же так что проезжали как раз мимо них! Нет, не зря — указание. Из высших духовных сфер подаются знаки.

Вернувшись домой она почти и забыла о всей истории с Банком — какие пустяки! Есть кое-что поважнее. О чем бы ни заговаривала с Элли, сводила на это. О чем бы сама ни думала, кончалось тем, что девочка, очевидно, должна быть итальяночкой — черно-

глазый ангел, которому она даст отличное и воспитание, и образование.

Ника отнесся к предприятию туманно. Мало занят был подобным — у него свое дело.

— Да, конечно! Как хочешь... странно немного... итальянская девочка.

Потом вдруг вскочил и оживился.

— Знаешь, как в анекдоте приглашает к себе в гости: «зову, но не настаиваю...».

Ему очень это понравилось, он дико захохотал и пройдясь драконом всё повторял:

— Но не настаиваю! Не настаиваю!

Марина осталась недовольна. («Ах, эти русские!»). Но у Элли имела еще менее успеха. Элли в молодости сама была склонна к сумасбродствам, но сейчас вдруг проснулся в ней здравый смысл колесниковско-владимирской крови.

— Знаешь, Марина, это всё чушь. Выдумки.

Тут уж Марина рассердилась, а потом и заплакала. («Ты мой друг, а меня не поддерживаешь»). Но Элли всё-таки не поддержала. И Марина дулась на нее. От намерения-же не отказалась и решила написать старой русской даме антропософке, одной из помощниц доктора в Дорнахе. Вот как она скажет, так и будет.

Но дама не отвечала, время шло, Марина совсем изнервничалась. Наконец, решила во что бы то ни стало ехать в Киавари в Воспитательный дом.

Опять коляска, пара лошадей, опять путешествие по приморской дороге на Лаванью, мимо октябрьского, бело-кипящего прибоем моря. Только вместо signore Edoardo — Глеб рядом с Мариной, а Ника опять мальчиком напротив на скамейке.

Когда переезжали по мосту в Лаванье через реку, здесь впадающую в море, Глеб сказал:

— Это Энтелла. Река Энтелла. Упоминается в Божественной Комедии.

Марина рассеянно, нервно слушала.

— Энтелла... да, Божественная Комедия... Данте, конечно, был посвященный.

Ника встрепенулся на своей скамеечке.

— Как и Рафаэль.

В приемной Воспитательного дома встретили их вежливо. Но не без удивления. Пуская в ход весь свой итальянский арсенал, Глеб объяснил, в чем дело. Их повели к директору. В другой приемной, более обширной и довольно сумрачной, они ждали несколько минут. Наконец вышел доктор, немолодой и серьезный итальянец — Глеб опять рассказал в чем дело. Постарался изобразить так, что вот люди со средствами, бездетные, хотят взять и хорошо устроить как собственного, ребенка — впоследствии он получит наследство.

Глеб сам на себя удивлялся. По-итальянски говорил вообще плохо, но тут разошелся. Почему собственно, неизвестно. Всё предприятие казалось ему авантюрой, но этот странный театр, полусумеречная комната старинного дома в мало кому ведомом городке Киавари, серьезное лицо доктора — всё было необычно, точно на сцене, и Глеб, на чужом, но милом ему языке, в необычных обстоятельствах, ощутил даже некое вдохновение. Ему захотелось убедить! — редкий для него случай.

Доктор слушал внимательно. А когда Глеб кончил, сказал тихо, любезно и непреклонно: «Это совершенно невозможно. По закону мы можем отдавать детей только итальянским подданным, и при условии, что взявший живет в Италии».

После краткого молчания, неопределенных полувозгласов, полу-вздохов, оставалось только подняться и раскланяться.

Назад ехали в ином настроении. Марина молчала — явно была расстроена. Глеб же и Ника помалкивали

загадочно-весело. Когда подъезжали к реке, Ника вдруг сказал:

— Вот опять и Энтелла, до которой ни нам ни Данте нет дел-ла!

И захохотал. Марина гневно на него взглянула.

— Вечные дурацкие остроты!

«Ничего», думал Глеб: «скоро будет Барди, позавтракаем, всё пойдет и спокойно, и правильно».

Когда подъезжали к вилле Джулии, из окна высунулась Таня.

— Козлик, где же bambina?

— Niente bambina, весело крикнул Ника, выскочил из экипажа расплачиваться.

В тот же день, к вечеру, подали телеграмму из Дорнаха:

— «Dievotchke otgajitess».

Элли улыбалась.

— Я рада, тихонько сказала Глебу. — Всё вышло хорошо. — Ot-ga-j-i-tess!

***

Дни, однако же, шли, незаметно накопляясь, незаметно уходя, но оставляя след как на горе Сант Анна благоухание фиалок с ветерком из Пармы. Это именно было то, за что и Глеб и Элли любили Италию и поклонялись ей.

По утрам два писателя, подтверждая взгляд Мариуччии, трудились пред раскрытыми на море окнами, в кухне Мариуччиа скромно главенствовала в свободные от бабки часы. На побережьи у моря виднелись иной раз две фигуры — старый и малый: Эдуард Романыч с Таней собирали камешки.

После провала девочки Марина впала в еще боль-

шую нервность, стала торопить Нику с отъездом. Теперь непременно надо в Сицилию, и именно в Таормину. Никуда больше. В этом райском месте найдет она истинное успокоение. Ника не возражал, но сказал, что Сицилия это почти то же, что Цецилия — Марина, блеснув круглыми серыми глазами заметила, что это глупо. «Ты утомляешь меня своими бессмысленными остротами».

За несколько дней до отъезда их, в день 1-го ноября, Элли, Таня и Мариуччиа зашли перед вечером на кладбище. День был серый. Вдали море шумело. Белое ожерелье его ярко очерчивалось по пляжу.

Пожилые итальянки с цветами и свечечками, приодетые девочки бродили среди мраморных памятников. Несколько кипарисов, дальний вид на пустынность вод моря — так остался этот день Всех Святых в памяти Тани, так и ушел с ней в дальнейшую ее жизнь. И отец, и мать говорили уже, что недолго теперь оставаться здесь, к декабрю надо трогаться в Париж, устраиваться оседло, начинать учить Таню.

Положили цветов на могилу матери Мариуччии, подошли и к Антону. Засохший букетик лежал еще у креста. Прибавили и ему цветов и поставили свечку. В начинавшихся сумерках светила она слабо, невещественно-тонко. В одинокой свече одинокой могилы было нечто пронзающее. Это все трое чувствовали.

— Мариуччиа, сказала Элли. — Когда мы уедем, ты заходи иногда к нему.

— Si, ответила Мариуччиа. — Понимаю. Он русский. И родных нет. Буду заходить. Пожелай мне, Elena, чтобы когда умру и ко мне кто-нибудь зашел.

Элли вздохнула.

— Милая Мариуччиа, мы разбросаны все по свету. Вот и мои родные остались в Москве и не знаю, увижу ли их когда... А ты живи, ты надейся, Мариуччиа. Где

Господь нам укажет, там и ляжем. И будем друг друга всегда помнить и любить.

— Ах, Èlena, вы забудете меня скоро в Parigi... Parigi è una citta splendida, не то что наше Барди.

— Я тебя не забуду, Мариуччиа, сказала Таня. — У меня и в России есть подруга, дочь нашей кухарки Прасковьи Ивановны. Я ее никогда не забываю, и она меня не забудет — мы так условились, когда в Москве прощались. А ты теперь вторая. Я тебя тоже люблю и не забуду.

Мариуччиа наклонила к ней тонкое, остроносое лицо свое, обняла ее и поцеловала.

— Tu e buona, Tania, come mamma. — Как твоя мама, добавила она вдруг ясно по-русски, точно чтобы крепче было.

ПРОШИНО

— Что ты всё читаешь? говорила мать, с утра неторопливо занимаясь шитьем — стежки клала ровно, сквозь пенснэ неотрывно глядя на иголку. — Успеешь со своими уроками. Смотри, опять голова разболится.

Она сидела в небольшом кресле у окна, в столовой прошинского дома. Ксана несколько сзади, у стола, подперев голову руками — мать не могла видеть, что читает она сейчас не учебник, а письмо.

— Нет, ничего. Не разболится, бабушка. Я сейчас, кончаю.

За эти годы Ксана подросла, но была такая же слабенькая, лимфатичная. Школу кончала, думала о бухгалтерских курсах. Всё это было еще неясно, трудно.

Мать обернулась к ней.

— Да это опять танино письмо. Ты ведь его уже читала!

Ксана слегка покраснела.

— Хочется лучше всё запомнить...

Мать вздохнула.

— Всё равно тебе Парижа не видать. И не думай пожалуйста.

Ксана тихо ответила

— Я знаю. А всё-таки интересно.

Мать продолжала шить, Ксана продолжала читать.

«Мы теперь переехали на новую квартиру. Я учусь в Лицее. Квартира хорошая, три комнаты, небольшие, но светлые. Окна у папы и у нас с мамой выходят на

улицу, против нас старый домик и сад, огромные каштаны, весной цветут белыми и розовыми свечками. Это очень красиво. Квартира называется меблированная, потому что мебель хозяйская, а у нас своей еще нет, потому что надо много денег. Я утром как встаю, так сейчас же бегу на метро, часто даже быстро бегу, потому что в Лицей нельзя опаздывать, а мне утром очень хочется спать...».

Ксана остановилась.

— Бабушка, что такое метро?

Мать сняла пенснэ.

— Мне тоже и Таня, и тетя Лена писали, что там всюду надо ездить по метро. Город большой — это подземная железная дорога. Электричеством движется.

— И так-то вот всё под землей?

Глаза Ксаны, слегка воспаленные, со всегдашним выражением кротости и некоей вялости, сейчас оживились, чуть расширились.

— Небось страшно, под землей-то?

— Глупости. Устроено, ездят, чего ж тут страшного. Ведь тебе Таня же не пишет, что боится?

— Не пишет.

— Ну, вот видишь...

Ксана помолчала.

— А она, может быть, храбрая. Она всегда была храбрее меня.

Мать усмехнулась.

— Да, ты не очень воевода, знаю. Пойди сюда.

Ксана покорно встала, покорно подошла к ней. Мать поцеловала ее.

— Бабушка, а ты сама в Париже бывала?

— Нет. Никогда не была.

— Может быть, и ты туда уедешь?

Мать несколько замялась.

— Вот, ты еще выдумаешь...

Ксана опять села на свое место, сложила письмо.

— Таня мне ничего не пишет, что вернется... Бабушка, а по-твоему они вернутся? Что они тебе пишут?

По лицу матери прошло недовольство.

— Вернутся, не вернутся... что это за разговоры. Пойди лучше посмотри, готов ли самовар.

Ксана поднялась, бледным пальчиком почесала слегка в волосах, медленно направилась в кухню, во владения Прасковьи Ивановны.

Мать осталась одна. За окном был утихший после метели день, ясный, с бледной голубизной неба, с алмазным блеском наметенного на балкон снега — ветки жасмина никли под белыми в искрах хлопьями. Вернутся, не вернутся... Она и сама, без покорной и вялой Ксаны всё время об этом думает. Да не так-то всё просто.

Мать давно уже начала недоумевать. Время идет. Вначале считалось — на год, полтора... А уже почти три как уехали. Жили в Германии, Италии, теперь поселились в Париже. По временам пишут, и очень лаково, Глеб присылал даже немного денег. О возвращении же ни слова. «Мама, как было бы хорошо, если бы ты к нам приехала. Мы бы тебя тут отлично устроили» — в таком роде, значит, сами в Россию не собираются.

Тут она и задумывалась. Просыпаясь по утрам очень рано, переворачивалась с боку на бок, не могла уж заснуть.

Возраст немалый. Увидит ли «сы́ночку»? Если они не приедут, значит *она*... — да, но бросить здесь всё, хозяйство, Прошино... За четверть века так вросла в дом этот, во весь склад жизни...

Ведь не вечно же так будет. Надо сберечь, передать «сыночке» — во всяком случае стараться, даже во враждебном стане, когда чуть не каждый месяц отнимают то одно, то другое и она медленно отступает, защищая каждую яблоню, каждого теленка, поросен-

ка. Ей самой мало что нужно, а вот сохранить сыночке...

До последнего времени сама мысль, что всё можно бросить и куда-то уехать казалась чудовищной. А сейчас изменилось, и резко. Видимо, ее не станут и спрашивать, хочет она оставаться, или нет — прошло распоряжение свыше: всех «бывших» выселять, без разговоров. Для видимости, по суду.

Мать стала просыпаться еще раньше, еще чаще вздыхать и повторять в одиночестве: «О, Боже мой, Боже мой!» — переворачиваясь на другой бок. Но для всех с виду оставалась прежней и со спокойствием философическим выслушивала, что Оленьковского барина выселили, из Дуракова Настасью Ивановну тоже, и в таком роде.

Единственный кто был в Москве близкий — Соня-Собачка. Ей обо всём она и отписала. И когда подошел день суда над Прошиным, Собачка приехала — три дня назад. С тем же работником Кимкой, последним пережитком прежнего, с которым голосовала Элли за эсеров, в розвальнях, сохранившейся дохе отца укатила она на суд в уездный город. Там являлась представительницей матери.

А теперь долго не возвращалась. Слишком долго. Мать беспокоилась: вчера была метель, такая страшная, ехать то ведь тридцать верст.

Мать встала и подошла к окну. Термометр, мохнатый от налипшего снега, показывал двенадцать. Два воробья, присоседившиеся на теплой раме, что-то поклевывавшие, взлетели.

Из прихожей отворилась дверь.

— Приехали! Бабушка, приехали...

У Ксаны был довольно оживленный вид. За ней ввалилась доха, из дохи улыбались глазки Сони-Собачки, горели румянцем щеки. На голове ее мерлушковая шапка, от нее несет свежестью, зимой.

— Ну вот, тетечка, слава Богу и добралась. Ксана, Ксана, снимай валенки!

Могучая, пышущая морозом, снегом, но и всегдашнею своей жизненною стихией, села Собачка на сундук, под висевшей на вешалке верхней одеждой прошлого: заячьим тулупчиком отца, шубою матери с бобровым воротником.

Мать подошла, они расцеловались. Ксана неловко стягивала один за другим валенки. Прасковья Ивановна внесла самовар — он кипел, от него несло и угарцем.

— Чаю... Это я с удовольствием... тетечка, тетечка, если б ты знала!

— Я тревожилась за тебя. Такая метель, ты ночевала где-нибудь, что ли?

— Погоди, всё расскажу. Дай в себя немножко прийти.

Она оправляла волосы, прошла к матери умываться.

— Я два дня не раздевалась.

Через четверть часа сидела она уже за столом.

— С чего начинать? Тетечка, с чего начинать уж не знаю... и суд этот, и сама я к тебе чуть жива добралась. Ну, что ли, про суд...

— Ксана, пойди скажи матери, чтобы покормила Кимку, да чтобы рюмку водки дала, из той, что привезла тетя Соня.

Ксане как раз хотелось послушать «про суд», а «бабушка» находила, что именно про суд и не надо.

— Я тебя тогда позову.

«Тогда» — это значило, что без нее расскажут самое интересное. Ксана однако забрала свои книжки, письмо, беспрекословно отправилась.

— Суд, суд... тетечка, дорогая, это ж комедия...

Горячась, сама себя перебивая, дважды рассказывая (от волнения) одно и то же, Собачка бурно повествовала.

— Ты понимаешь, сидят эти михрютки полуграмотные... и делают вид, что они судьи... Им всё заранее предписано, они двух слов связать не умеют. Народным образованием в городе знаешь кто заведует? Бывший пастух! Ну вот, ну вот, тетечка, дела все были о выселениях, и быстро разрешались... некоторые там кланялись, просили оставить коровку, лошадь. А я, знаешь, сидела и кипела. Я всю эту шушеру ненавижу и вот, думаю, не пристало тетечке моей унижаться...

Мать сидела спокойно, несколько бледнее обычного и слегка поигрывала снятым пенснэ.

— Ты знаешь, я у тебя не спрашивала, когда уезжала, но я подумала, постаралась представить себе, как бы дядя Коля поступил, как ты... как мой отец покойный... и тетечка, знаешь, может быть ты будешь недовольна — когда очередь дошла до нас, я сказала, от твоего имени... что мы ничего не просим, от всего отказываемся... хотела было добавить: плюем на вас, да уж так, не добавила, по малодушию. В чеку не захотелось садиться.

Мать продолжала быть бесстрастной.

— Да, конечно, сказала негромко, слегка глухим голосом. — Сделать ничего нельзя было. Ты правильно поступила. А резкостей им говорить не надо.

— Тетечка, как мне хотелось! Там один старый слесарь был, тоже судья... Он на меня с особенным бешенством смотрел. Всё шипел. Потом в коридоре встретил, проходя, мне сказал — вполголоса — слово... я не могу повторить при тебе.

Мать вздохнула.

— Ну, это герунда. Мало ли они каких слов ни говорят...

— Тетечка, милая, ты не меняешься... Я с детства ведь помню, ты говорила: «герунда», «генварь»... Ты всё такая же.

Собачка вскочила, обняла ее, стала целовать и вдруг заплакала.

— Когда я маленькая была и жила в вашем доме с Глебом, Лизой... я ведь ничего кроме добра от вашей семьи не видела, ни от тебя, ни от дяди Коли... Усты, шахта, «генварь»...

Мать слегка улыбалась.

— Тише, тише, задушишь...

— Тетечка, ты всё тут бросишь, в этом твоем Прошине, переедешь ко мне в Москву. Ты будешь в моем доме как у себя. Я чувствую это, я знаю. Я так нынче молилась, знаешь, ведь я чуть не погибла вчера, но это рассказ отдельный. А теперь ты мне скажи: ты ведь к нам переедешь? Правда? Не будем у них выклянчивать угол, какую-нибудь корову? Ты переедешь?

Она действительно тискала «тетечку» в объятиях. Натура ее, как море при сильном ветре, расколыхалась. В ней сливалась молитва со слезами, умиление и негодование, всё вместе, всё давало некую бурную музыку.

— Посмотрим. Там посмотрим. Спасибо тебе за всё, говорила мать.

Успокоившись несколько, за чаем Собачка рассказывала, почему именно так запоздала. Мать как всегда сидела за самоваром. Ксана теперь присутствовала, неотрывно глядела на рассказчицу.

— Ты понимаешь, тетечка, выезжаем мы с Кимкой вчера из города, день был ничего себе, серенький, так, в поле немножко подувает, но на мне дядечкина доха — дай Бог ей здоровья, легкая и хорошо греет. Сижу в розвальнях, закуталась, ну, думаю, дуй, дуй, всё равно меня не продуешь. Всё-таки — ветерок всё сильнее, просто уж настоящий ветер, и знаешь, поземка начинается... метет снизу сухим снегом мелким, колючим, Кимка на облучке ногами побалтывает, а у самого лицо снегом начинает залеплять. И дорога становится трудней. Хотя едем пока еще большаком, но уже чувствую,

что кобыла едва дорогу находит, иной раз и сбивается — ткнется в сторону, а там прямо сугроб.

Мать вздохнула.

— Да, это опасно. Помню, покойный Николай Петрович ужасно попал однажды так...

— Тетечка, я с детства знаю этот рассказ и всегда в метель вспоминаю. Это еще когда он молодым инженером был?

— Да, поехал, и недалеко, и заблудились они с кучером. Всю ночь проплутали, друг друга в метели потеряли, и лошадь. Николай Петрович утром оказался на заборе, около нашего же дома, а кучер забрел в овраг, его позже нашли.

Ксана слушала теперь с расширенными глазами. Обычная вялость ее ушла.

— Что же кучер-то? спросила тихо.

Мать спокойно ответила:

— Замерз. Да и Николай Петрович чудом спасся.

— Тетечка, вот именно чудом... Ты подумай, едем мы с Кимкой по большаку, метель уже по-настоящему разыгрывается, и там за Климухиным поворот, знаешь, до нас, до Прошина еще верст десять. Вот мы и едем — ну, что за езда, кобыла просто шагом бредет... Вижу, Кимка начинает беспокоиться. «Куда там, к лешему, чего поехали... чего? К лешему!» Знаешь, как он всякую чушь порет. «Кимка — говорю — нам бы поворота не пропустить». «Не пропустить, не пропустить... кол ему в хрен, ищи тут, где вертать... ищи сама, где вертать». Одним словом, начинает злиться. Только вдруг догоняют нас другие розвальни — и представь, лошаденка небольшая, а бежит трухом довольно таки прилично. В розвальнях старичек, легенький, мне показалось, вроде мужичка, и очень так просто, по цельному снегу нас обгоняет — не проваливается. За ним и наша кобыла встрепенулась. Знаешь, как всегда лошадь за лошадью. И он нас как раз на

этот поворот вывел, мы свернули, но тут кобыла наша отстала — он как явился внезапно, так и исчез, просто одна белая мгла перед глазами и метель воет, воет, теперь уж разыгралась как следует. Кобыла едва бредет — да, это наш проселок, но заметён еще больше, чем большак. Кимка ругается, снег во всю лепит, и я чувствую, что скоро начнет смеркаться. Вот наконец кобыла чуть что не по брюхо вязнет — то ли так проселок занесло, то ли мы его вовсе потеряли, одним словом дело совсем дрянь.

Собачка остановилась, даже слегка задохнулась. Всегдашний ее румянец стал еще ярче. Она глотнула чаю, продолжала: «Господи», думаю, «неужели нам тут и погибать? Ну просто вот так в метели?». Стала молиться. «Поддержи, укрепи, настави, не покидай меня, Христе Боже! Матерь Пречистая! Николай Угодник!». А кобыла вовсе остановилась. Тяжко дышит, пар от нее валит, и ни тпру, ни но... Кимка соскочил, меня даже стал ругать. «Из-за тебя тут околевать будем...».

Я бы в другое время прямо по шее его треснула, он бы своих не вспомнил, но тут не до того. Молчу, только про себя шепчу: «Помоги... поддержи, не остави...».

Так вот мы и стоим в чистом поле и метель нас заносит. Не могу сказать, сколько это было, я вроде как во сне находилась, или в дреме какой. Только вижу, опять настигает нас кто-то. И опять мимо нас та же лошаденка, в розвальнях старичек... но теперь не торопится. Ничего нам не говорит и мы тоже точно оцепенели, просто только на него смотрим. Кимка утих. Сел на облучек, возжами тронул, кобыла двинулась, шагом пошла — старичек в розвальнях впереди, мы за ним. И довольно легко, сразу путь оказался, кобыла шагает себе, а куда — Бог весть. Старичек иной раз пропадает из глаз, иногда вот он, рядом, а мы едем и едем. Наконец, деревня. Но это не Прошино, что-то

другое. Он тоже впереди нас, теперь будто трухом, рысцой.

Она замолчала.

— Ну, что же дальше? спросила мать.

Собачка не сразу ответила — задумалась. Продолжала спокойнее, но как бы в усталости.

— Деревня-то незнакомая. И в стороне. Не на нашей дороге. Да, во-время добрались... Через полчаса и вовсе темно стало. Но на улице еще были бабы, ребятишки бегали — метель стихла. Мы заехали в одну избу, нас пустили ночевать.

— Как же деревня называется? спросила мать.

— Клементьево.

— Никогда не слыхала.

— А старичек? прошептала Ксана (сидела она вся похолодавшая, чуть не дрожа).

— Мы там рассказывали, как он нас вывел... И спрашивали. Мы то видели, как он через всю деревню проехал. А они говорят: никакого старичка в розвальнях тут не было. И никто кроме вас не проезжал.

Мать отодвинула свою чашку, надела пенснэ, не без строгости взглянула на Собачку. Взор ее как бы говорил: «Герунда».

— Просто не обратили внимания. Когда метель, так не очень-то будешь рассматривать.

— Тетечка, тихо сказала Собачка: когда мы въезжали в деревню, метель стихла. И отлично я видела, что он проехал мимо этих избенок, мимо баб и детей, а потом вдруг исчез.

**
*

Вечером мать как всегда раскладывала пасьянс. Ни о суде, ни о планах своих не заговаривала. И Собачка ее больше не спрашивала. Говорили о Москве, о Мсти-

славе Казимировиче, Собачка рассказывала, как работает она у себя в больнице. Точно бы ничего не случилось — но Собачка слишком хорошо знала «тетечку», чтобы не чувствовать, что под этими сдержанными разговорами было совсем другое.

Несколько раз входила Прасковья Ивановна. Мать вынимала ей постельное белье из комода, Ксана таинственно с нею шепталась. Всё это значило, что Собачку устраивают на ночь во флигеле — там отлично натоплено и теплее чем здесь: тут никак не нагреешь, выдувает. Слишком всё обветшало.

Чтобы не было жутко Собачке, отрядили туда спать и Ксану — она была счастлива: всё это необыкновенно. И после ужина, при месяце, под морозными звездами, поскрипывая по синему снегу валенками, отправились они на ночлег.

И флигель этот, и вообще Прошино мало Собачка знала. Но хорошо знала Глеба. Глеб был даже частью ее существа, ее детства и юности, как и Элли, которую хоть и позже она встретила, всё же ранняя их молодость и богема Москвы была также частью ее жизни.

Войдя в первую комнату, где нетронутыми стояли еще на полках книги, все эти Пушкины и Толстые, и Тютчевы, Соловьевы, и современные символисты, итальянские издания, фотографии Флоренции — сразу почувствовала она такое знакомое, будто сама провела тут полжизни. Глеб, Элли, Таня вдруг пред нею явились — она вздохнула. «Ну, да что же поделаешь. Последние дни. Удивительно еще, что пока всё уцелело. Вполне удивительно».

Печь была жарко натоплена, в другой комнате приготовлены две постели, как для Глеба и Элли. В полузамерзшее окно глядел всё тот же одинокий, полукруглый сейчас странник неба, дробясь искорками в узорах инея по оконному стеклу.

— Спать, спать, заявила Собачка, решительно,

будто сама отгоняла от себя ненужное. — Ксана, теперь спать. Я ужасно устала.

И начала разоблачаться.

— Тетя Соня, спросила Ксана, скромно укладываясь в постель, накрываясь тулупчиком: а кто же был этот старичек, который в метель вас привел в деревню? Ведь он вас спас?

— Спас.

— Куда же потом делся? Я не поняла. Въехал в деревню и вдруг пропал...

— Да, вот так и пропал.

Собачка повернулась мощным своим телом. Кровать под ней скрипнула. Она вдруг сказала:

— Сделал свое дело и пропал. Это был не простой старичек.

Ксана кашлянула.

— Не простой, а какой же? Кто же?

— Николай Чудотворец.

Ксана приподнялась.

— Чудотворец!

— Да, не удивляйся, я так чувствую. Он всегда бедствующим помогает, помогает... и на морях в бурю, и в болезнях, и на суше... я ему там в метель молилась, вспомнила тетю Лену, она ему в церкви свечки ставила, очень его почитает. Она мне рассказывала, он и Глеба в болезни в последнюю минуту спас, когда уж надежды не было. Он всегда в последнюю минуту... Может быть и она там, вдали, заграницей обо мне вспомнила, обо мне ему помолилась.

Ксана замерла. Потом тихо пробормотала:

— Николай Чудотворец... я и сама подумала, что старичек это особенный. Только при бабушке боялась сказать. И не знала, кто это... а вот теперь знаю. Николай Чудотворец!

У Собачки была благодарная слушательница. Тут сомнений быть не могло, Ксанино сердце сказало ясно,

как всегда это случалось с подобными ей: да, конечно, святой.

В эту ночь обе оне долго не засыпали. Месяц уже отошел от окна, другое окно, в другой комнате, искрилось в его загадочном свете и полузанесенная усадебка с ее обитателями, с уходящею жизнью смиренно предстояла перед ним — он одевал своим сиянием и крыши, и деревья сада, и большие липы — всё сейчас в мохнатом и волшебном инее, всё сказочное и безответно предстоящее пред вечностью.

Утром, за обычным кофеем, мать объявила Собачке, что оставляет Прошино. Предложение ее принимает: переезжает к ней в Москву.

***

Собачка на другой день уехала, мать же стала готовиться к переселению. Осознать это было нелегко, и никто не считал бессонных ее ночей. Но когда сдвинулось всё окончательно и в душе осело на новых местах, стало легче. Помогала и новая мысль, в ней возникшая: раз Глеб не возвращается, то из Москвы она сама начнет хлопоты о выезде. Если не оставаться в России, то конечно уехать можно только из Москвы. Значит, всё-таки смысл есть. И это поддерживало.

Отступление свое она совершала в порядке, с тем спокойствием, твердостью, как ей и полагалось — меняться было уже поздно.

Прошинский дом и глебов флигель даже оживились, как бы предсмертным оживлением: весть об отъезде «бабушки» разнеслась быстро. С разных концов в пошевнях, розвальнях, в разных санках стали съезжаться покупатели, прасолы, мельники, мещане, хозяйственные мужички — все, кто надеялся на чужой беде

поживиться, кто не думал еще, что недалек час, когда его собственная судьба будет не хуже ли бабушкиной.

На глебовы книги покупателей не оказалось, да мать и не хотела бы их продавать — их укладывали тщательно в ящики, и комиссар Федор Степаныч, чья дочь Дунечка, как и Ксана выросла под крылом бабушки в «господском доме», по давней дружбе и уважению согласился поставить всех Пушкиных, Данте и Соловьевых к себе в сарайчик до новых распоряжений из Москвы. А разные стулья, сундуки, комоды и диваны, кровати, табуретки, столики уплывали бесследно и безостановочно, возмещаясь пачками бумажек, на которые почти ничего нельзя было купить. Многое раздавала мать и даром, кое-что обменивала на съестное — надеялась провезти в Москву.

Прасковья Ивановна была в волнении. По мягкости характера своего и нервности не могла так стоически, как мать, относиться к разорению Прошина, с которым для нее связано было многое. Ксана ходила тенью. При каждом удобном случае принималась плакать, за что получала сумрачные увещания «бабушки»: но всё-таки не могла с собой совладать.

И вот наступил, наконец, день, когда у крыльца почти уже голого дома остановилось двое розвальней — одними правил Кимка, в них запряжена была та сарая кобыла, что вывезла-таки Собачку из метели, в других меринок Федора Степаныча и сам комиссар управлял им. Розвальни нагрузили последним скарбом, в передние села мать в своей шубке и бобровой шапке, в задние Прасковья Ивановна с Ксаной — они тоже переселялись к Собачке. Что можно и что нужно уже было отплакано, всё-таки провожать вышло много народу из деревни. Для баб, детей, да и вообще для многих развлечение. Походило отчасти и на похороны Николая Петровича, тоже зимой, несколько уже лет назад.

— Ну, с Богом, сказала мать, усевшись в розваль-

нях. И хоть двуперстным знамением, как боярыня Морозова, увозимая в ссылку, себя не осенила, всё же вид у нее был внушительный. Когда розвальни проезжали мимо баб, мужиков, детей, многие шапки безмолвно снимались. Мать ответно кланялась.

День был тихий, серый, дорога ровная, только что запорошенная свежим снежком. Розвальни бесшумно плыли. Проехав Поповку и поднявшись в гору, где кладбище, мать велела приостановиться. Так же провожала она сюда мужа, тоже в зимний прошинский день. Здесь лежали, под замшелыми плитами, князья Вадбольские, прежние владельцы Прошина. Николай Петрович князем не был и скончался в год от Рождества Христова 1919-й, когда ни о каких плитах говорить не приходилось. Он лежал тут же, под простым могильным холмиком, сильно сейчас занесенным снегом. Деревянный крест всё-таки возвышался над ним. Мать подошла к могиле, постояла минуту, перекрестилась и опять села в розвальни.

ЛЕТОПИСЬ ЗЕМЛЯНОГО ВАЛА

Еще со времен давних, когда отец попивал пиво на балконе Прошина, а Геннадий Андреич столь же невозмутимо разглядывал чрез пенснэ древности, само собою установилось, что Прошино и Земляной вал — два совсем отдельных мира. Странность состояла в том, что хотя Глеб и Элли давно уже были мужем и женой и Таня потряхивала своими косичками, но Геннадий Андреич никогда не видал отца, а мать Агнессу Ивановну. Правда, миры эти разделялись расстоянием. Но и мать, и отец наезжали иной раз в Москву, а вот както не выходило. Не то, чтобы существовали предвзятости, недружелюбие, а просто обе стороны жили в своем кругу, твердо и навсегда очерченном, не выходя из него.

Смерть вывела отца из всяких земных кругов, крушение прежней жизни привело мать на Плющиху — чрезвычайно приблизило к Земляному валу географически. Но внутренно мало что изменилось. Мать с Ксаной, Прасковьей Ивановной, въехала в дом Собачки (квартиру неуплотненную) с обычной своей ровностью и прохладой. Ксана поселилась с ней вместе, а Прасковья Ивановна заняла в кухне положение выдающееся: таких клецок, как она готовила, таких шкварок, а иной раз и «генсиса-можоного» Мстислав Казимирович давно не видел. Это его утешало и радовало. В волнении он закатывал под лоб голубые нервные глаза и тотчас же, перед отъездом в свое учреждение, выпивал какую-нибудь целебную воду или лекарство.

— Тетечка, тетечка, ты на него не обращай внимания, он вечно лечится! Этого уж не переделаешь. И притом совершенно здоров.

Мать и не беспокоилась. Ни о чем таком она вообще не беспокоилась. Собачка с ней была безупречна. Ни малейших царапин не оказывалось, всё-таки это не дом «сыночки» (Собачки дом родственно-преданный, но не совсем свой: Мстислав Казимирович даже вовсе не свой. И мать не чувствовала себя вполне дома).

Она жила внутренним своим миром. Он заключался в судьбе сыночки и его семьи, в известиях от них и проектах — пока одиноких и тайных — как с ними встретиться.

Земляной же вал, при всей близости его, весьма мало входил в ее горизонт.

Также и в жизни Земляного вала появление матери на Плющихе произвело мало действия и последствий не вызвало.

Сообщила об этом Анна: она находилась теперь в полном примирении с родителями. С мужем давно уже разошлась и ее жизнь всё сильнее внедрялась в жизнь собственных взрослых детей и своих родителей. Нечто монашеское и жертвенное появлялось в ее неизменно-прекрасных глазах, у ней подрастали теперь и внуки. Есть о ком пещись: и малые, и средние, и старые, всё представительство таинственного круговорота бытия.

С Собачкой она находилась в добрых отношениях. От нее и узнала о переезде матери — у нее с матерью вновь встретилась. Своей собственной матери сказала:

— Ты знаешь, мама, Варвару Степановну из имения совсем выселили. Она живет теперь у племянницы, на Плющихе.

Агнесса Ивановна мотнула своей большой, в мелких кудерьках головой. Небесно-голубые глаза ее повлажнели.

— Как же так, Аничка, из собственного дома?

— Вот ты и поговори с ними, станут они спрашивать, или не станут. Бога благодари, что сама тут сидишь еще с папой, хоть и в уплотнении.

— Тише, Аничка... могут услышать.

В глазах Агнессы Ивановны появился страх: вообще то она не из воинственных, а тут и правда кругом кишели жильцы, со своими детьми, сварами, примусами.

Вошел Геннадий Андреич. Он слегка постарел, но одет всё так же — в серьезном и солидном духе. Довоенный костюм не сдавался еще.

— Аничка, здравствуй. Рад тебя видеть.

И сняв пенснэ, подставил голову для поцелуя.

Анна почтительно приложилась к нему. Отец не был теперь для нее, как некогда, далекой, почти грозной силой. В том общем утеснении как сейчас жили, вечно угрожаемые, в нужде, бесправии, она острей чем раньше ощущала тайную, кровную связь с отцом. Близкая ему по характеру, с чертами властными, теперь весьма ему же и предалась, всей прямой и яркой своей душой. А притом считала, что он сам менялся («ты не можешь себе представить», писала она в Париж Элли, «как папа добр и ко мне, и к внучатам. Сколько внимания в нем открылось, любви...» — Элли плакала над этими письмами).

— Папочка, сказала сейчас, сияя глазами: ты как всегда подтянут, элегантен...

— Глупости, глупости-с... Какая там элегантность, и к чему она теперь. Я вот принес интересную брошюру, мы получили в Музее, от английского нумизматического общества.

Геннадий Андреич был доволен, что встретил тут именно Анну: хоть в нумизматике мало она смыслила, но уважение и почтение к науке унаследовала от отца.

— Ты возьми, прочитай, но потом, непременно мне верни...

На Агнессу Ивановну надежда была слаба. Она восторженно моргала глазами, легко наполнявшимися слезами, но в ее душу монеты царя Митридата входили туго.

— Да, папа, да, конечно... А я вот только что мамочке рассказала: Варвару Степановну, мать Глеба, выселили из деревни. Она теперь здесь.

Геннадий Андреич смотрел на нее не без задумчивости.

— Не удивляюсь. Ничуть не удивляюсь. Всего можно ожидать, и худшего, и худшего-с... Я от этих людей всего жду. — Во всяком случае передай Варваре Степановне мое искреннее сочувствие.

Посидев немного он поднялся, направился к себе в кабинет.

— Когда будешь уходить, сказал Анне: зайди ко мне. Я там кое-что припас малышам.

***

Новая жизнь нелегко давалась Геннадию Андреичу.

От дома остался островок: кабинет, где он спал, комната Агнессы Ивановны да столовая, откуда шла лестница вниз, в полуподвальный этаж. Некогда там помещались «молодцы» кожевенного дела, а теперь кишели всякие насельники, довольно разнообразные. Жильцы занимали и разгороженную на трое залу наверху — любовались там копией Каналетто. Целая семья разместилась в зеленой гостиной, где некогда Глеб и Элли проводили лето перед рождением Тани — и всё это журчало, гудело неумолчным шумом, неизбежным и необходимым в таких ульях. И советским служащим, и рабочим, и «полу-интеллигентам» тоже хотелось жить, поскорее вкусить всех сладостей бытия — им представлялось еще это весьма простым и легким.

Разные попадались среди них, и лучше, и хуже, но повсюду готовили на примусах, сушили в комнатах белье, стирали, гладили, ругались, ссорились, мирились. Столовая, хотя и считалась колесниковской, но скорей ее можно было назвать узловой станцией — снизу вверх непрерывно шныряли бабки, бегали дети, проходили к жильцам посетители. Пар от корыт с пеленками то подымался снизу, из подземных царств, то просто, очень откровенно растилался над маскою Петра и Венецией Каналетто.

Всё это с жизненного конца понятно, даже и неоспоримо. Всё-таки тягостно: Агнесса Ивановна просто боялась, по ночам запирала дверь на ключ — мало ли кто может забраться и поискать, не спрятано ли чего. Иногда Маркан ночевала у нее, чтобы не было так жутко. Или барон, облысевший, но такой же элегантный как и прежде, работавший теперь в советском теннисе, пристраивался на ночь на сундучке. Но от Маркана с ее предсказаниями и мраком становилось еще жутче, барон вел жизнь таинственную, полную авантюр — Герцена же Агнессе Ивановне вслух более не читал.

Геннадий Андреич тоже запирался на ночь. Но не из боязни: для порядка. Он ничего никогда не боялся, всегда чувствовал свое превосходство и силу. В ранние годы это выражалось иногда резко: то, что называется крутой характер. Теперь же не только Анна, а и другие и он сам стали замечать в нем изменение, смягчение. Преодолеть отталкивания от муравейника он не мог — слишком уж это не по нем. Но в жизни его не всё было по старому. Например, стал он ходить в церковь, чего раньше не делал, с удивлением замечая, что церковная служба с ее ритмом, глубоким благообразием, так далеким от хаоса и некрасоты вокруг, действовала успокоительно. Как бы настраивала душу и размягчала.

Когда после всенощной (всё у того же Ильи Пророка через улицу, куда некогда возили рысаки его по-

койную мать) он возвращался домой, в осажденную крепость, то взгляд его на осаждающих смягчался. Не то, чтобы они особенно приближались. Но его более светлый и покойный внутренний мир менее задевали. «Что говорить-с», думал сам с собой, снимая в кабинете потертое довоенное пальто: «что говорить, всё это величайшая катастрофа. Господь, однако, попустил ее. Его святая воля, значит, так нам и надо-с, заслужили...».

Когда же вновь погружался в свои книги, слепки монет, фотографии, тот мир, в котором прожил жизнь, приобретал двойную прелесть.

А на службе появились для него и новые трудности.

В Музее всё осталось, как бы прежнее: во главе старый безобидный князь (ему прощалось даже его княжество), Геннадий же Андреич как и раньше старший хранитель: душа и глава всего.

Делами наук, искусств заведывала в Москве сановная дама. При Музее от нее комиссар, молодой и задорный, как все тогда упоенный властью — он и являлся прямым надзором за Геннадием Андреичем. Сановница подчеркивала свою культурность и некоторый европеизм — в молодости подолгу жила в Париже и Женеве. Иной раз заезжала и сама в Музей. Геннадий Андреич почтительно ей показывал, как некогда Великой Княгине, свои владения. Она держалась вежливо, но отдаленно. Иногда делала мелкие замечания, которые он исполнял в точности. «В нашем деле не понимает», говорил потом князю, крупному старику с татарским лицом, который и сам мало что понимал: «но могло быть и хуже».

С комиссаром, товарищем Баландой, получалось труднее. («И откуда у них такие фамилии? Ну были раньше Семеновы и Петровы, а теперь разные Якиры, Ягоды... Удивительно!»).

Товарищ Баланда, краснощекий герой гражданской войны, молодой, бурный, считал свое комиссарство при Музее делом временным и малоинтересным. Ему мерещились гигантские осуществления — постройки новых городов, заводов, отвод русл рек, переделка вообще всего мира, а тут какие-то каменные бабы да скифские резные украшения, кинжалы, чаши...

Он задыхался. Чтобы сколько-нибудь дать себе ходу, предпринимал неожиданные шаги: в киевской зале надо всё переставить, а для московской воспользоваться прежней новгородской. Немедленно разобрать ящики в архивах частных дарений и в свезенном из разных углов России в революцию.

Геннадий Андреич повиновался, вещи переезжали из залы в залу. Он хмуро надевал пенснэ, которое обычно носил на отвороте пиджака, сумрачно наблюдал за работами, которые по его мнению были ни к чему, иногда вздыхал, но в глубине души радовался, что до его любимых монет и древних печатей Баланда пока не добрался.

«Ничего не поделаешь, надо терпеть» — шумный, полуграмотный мир так был ему чужд! Но держали стены. Самые стены Музея, где десятки лет он работал, сами предметы и коллекции, среди которых жил, стали убежищем. С ним же самим Баланда держался довольно прилично. Называл «товарищ-заведующий» («какой я ему товарищ, он просто мальчишка, понятия не имеющий ни об истории, ни об археологии...») — иногда даже спрашивал: какая это монета? Или: что такое за ваза? Чем знаменита?

Отвечать приходилось осторожно. Это не Глеб студенческих времен, это начальство, считающее, что оно всё знает и во всяком случае сумеет сделать всё и переделать много лучше прежнего.

Однажды Баланда наткнулся на небольшую фотографию — снимок с гипсовой плакеты. Изображался

на ней Геннадий Андреич: сидит за столом с книгами, в руке увеличительное стекло. Большой лоб, переходящий в лысину, усы, бородка клинушком, на отвороте пиджака вечное пенснэ — старый русский ученый, сподвижник Забелиных, Кондаковых, ничего тут не скажешь.

— Вас похоже сделали, товарищ, сказал Баланда.

— А что это вообще такое? По какому случаю?

Геннадий Андреич не весьма был доволен, что снимок попался на глаза Баланде. (Обычно лежал у него дома, и даже ближайшим своим не очень-то показывал он его).

— Да, я затащил в каких-то книгах из дому, это всё прежнее, ненужное... — и с недовольным видом протянул он руку, чтобы взять фотографию.

— Тут цифры римские. Что значат? А, да пожалуй, юбилей?

— Вы совершенно верно угадали: юбилей. Ну, что об этом говорить.

Но Баланда стал рассматривать и не сразу отдал. Цифры на плакете указывали: 1883-1913 — тридцатилетие службы в Музее.

— В вашу честь медаль выбили, дело хорошее, товарищ заведующий. — Значит, вы и при старом режиме являлись показательным работником. 1913! А теперь много больше, и при нашей власти герои труда также получают отличия. Работайте, работайте, орден Ленина получите.

Геннадий Андреич промолчал и недовольно сунул себе в карман фотографию. Баланда же считал, что обошелся очень милостиво со стариком, и чуть было даже не похлопал его одобрительно по плечу.

Домой Геннадий Андреич возвращался в тот день хмурый. Ничего, собственно, не имел против этого Баланды, но неприятно действовали его обмотки на ногах, гимнастерка, вихры на висках. «У меня и Государь

в Музее бывал, и другие ордена есть, но Государь по другому держался... Баланда-с... одолжил бы орденом Ленина! Вот бы одолжил-с...».

У Геннадия Андреича были действительно ордена. Была и трехуголка, в которой приходилось иногда ездить к генерал-губернатору на прием. Но он вообще всего этого не любил, ордена прятал подальше. Однако назывались они: св. Владимир, св. Анна... — а тут отличить собираются Лениным! «Нет-с, уж с меня достаточно. Никаких орденов, никаких героев труда».

То, что Баланда счел его чуть ли не героем труда, особенно раздражало. Герой труда! Самое выражение это приводило его в дурное настроение.

Прежде, подходя к своему дому, он подымался с улицы на несколько ступенек, мимо палисадника, звонил у подъезда. Теперь парадная раз навсегда заперта, ходили низом с черного хода — там всегда открыто.

Как обычно, он уверенно дернул за ручку входной двери: кисловатый, невеселый и несветлый воздух полуподвала. Но вот оглашается он детским воплем — прямо перед Геннадием Андреичем искаженное, позеленевшее лицо худого, рваного человека, в ногах у него визжит и бьется мальчишка, которого он лупит ремнем.

— Я тебе покажу колодки мои таскать, я тебе сукину сыну всю провизию искровеню...

— Дяденька, ей-ей не крал, я только поиграть хотел... дяденька...

Геннадий Андреич знал этого сапожника, «куста-ря-одиночку» и терпеть его не мог: раздражали жилистые руки, яблоко на тонкой шее, потное чахоточное лицо, вечная озлобленность.

Увидев Геннадия Андреича, мальчишка метнулся к нему.

— Дяденька... ей Богу не крал...

— Это что за безобразие? строго спросил Геннадий Андреич: кто это позволил драться?

— А он что у меня, сукин кот, колодки таскает? Ах ты, стерва трехшерстная, я тебе покажу...

И сапожник ринулся вновь на мальчишку, успевшего уже вырваться из костлявой руки и ловким вольтом перекинувшегося за спину Геннадия Андреича.

— Нет-с, нет-с, никаких драк...

Сапожник задохнулся. Яблоко на горле его нервно бегало вверх и вниз, белесые глаза с яростью уперлись в Геннадия Андреича.

— А ты кто тут, распоряжаешься? А? Кто ты такой, чтобы мне приказывать?

— Молчать-с! У себя в доме безобразничать не позволю...

— У себя! У себя! Был твой дом, а теперь наш, общий.

Но Геннадий Андреич уже не слушал. Так решительно двинулся вперед к лестнице, что сапожник отскочил.

Да, конечно, не его дом, он и сам знает, но уж переделать его трудно: в эту минуту, пусть и бессмысленно, вдруг ощутил он опять власть, силу, превосходство. Это же ощутил в нем и Сенька, как щенок укрывшийся у ног «барина» и с ним вместе, одним махом, обгоняя его, вкатившийся по лестнице прямо в столовую, где под висячей лампой Маркан раскладывала свое гаданье, а Агнесса Ивановна, потряхивая кудерьками, следила с детским любопытством за движениями судьбы.

— Геничка, это что там за крик внизу?

— Чепуха-с, чепуха. Один мерзавец скандалил.

Сенька остановился, увидев дам, лампу. Лицо его было еще в смятении, он вздрагивал, но уже понимал соображением бойкого мальчишки, что здесь его не обидят.

— Вот-с, этот индивидуум чуть не пострадал...

— Бедненький, смотри, Маркан, он весь дрожит... Ну, пойди ко мне, не бойся...

Глупо, конечно, бояться полной дамы с бирюзовыми глазами. Сенька скромно приблизился.

— Я, тетенька... я не воровал... на что мне колодка.

Он вздрагивал еще и всхлипнул, но уже тише.

— Только поиграть хотел, там домишко строил, в углу, из всяких штуковинок...

Седая голова Маркана не весьма одобрительно покачивалась.

— Поиграть, поиграть. Знаем мы ваши поиграть.

В прежнее время Агнесса Ивановна сунула бы ему пригоршню конфет от Флея, но теперь Флеев больше нет, остается лишь то же сердце, всё еще бьющееся сочувствием, расположением. Мягкая рука мягко провела по вихрам пролетария, от этой руки зла не будет. Сенька не думал ничего, но чувствовал, что теперь он в спокойном, мирном месте, где никто не обидит. И хотя о флеевских конфетах речи быть не могло, всё-таки в тихой пристани, куда его занесло, из какой-то похоронки нашелся для него кусочек сахару.

— Маркан, налей ему чайку.

Седая стриженная голова продолжала выражать неодобрение. Сумрачно попыхивал мундштук — чем набита была самодельная марканова папироска? — всё же гость получил нечто теплое, на устарелом языке называвшееся чаем.

— Это Дарьи Григорьевны сын, сказала Маркан. — Там, внизу...

Гость опять всхлипнул.

— Мамка на работе, при ней он бы не посмел.

Маркан собрала карты, сказала строго:

— А ты чужими вещами не балуй. Нынче поиграл, а завтра в карман запрячешь. Они его всему научат,

со всегдашней мрачностью добавила она. — Будет воровать.

— Ну, уж ты, Маркан, непременно такое... Он еще маленький, бедненький...

— У вас все бедненькие.

Но Агнессу Ивановну поздно было переделывать: Сенька получил еще кусочек булки.

Геннадий же Андреич только у себя в комнате, затворив плотно дверь, умывши руки в умывальнике с мраморной доской и педалью — только тут почувствовал себя привычно и в укрытии. Всё-таки губы его слегка дрожали и внутри тоже вроде дрожи, вызывавшей в теле холод. «Зверская жизнь-с, дикарская, ничего не поделаешь. Это еще всё пустяки. Есть почище штучки, почище»...

Он вынул из кармана фотографию плакеты, сунул в ящик письменного стола. Зажег лампу с зеленым окаймлявшим абажуром — она бросала свет только на стол и чернильницу. Это успокаивало тоже. «Мальчишка может быть и озорной, а уж в этой среде свихнется наверно, всё-таки истязать детей у себя в доме я не позволю... не позволю-с», вдруг угрожающе добавил он, точно невидимому противнику. В детстве он сам видел много тяжелого. И нельзя сказать, чтобы так уж сентиментально принимал этого Сеньку. Но тот мир, откуда сейчас шло это насилие, глубоко ему был противен. Да и вообще всё это противоречило его взглядам на нравственность и духовный мир.

В тот же вечер, несколько позже, в дверь к нему постучали.

— Войдите.

Геннадий Андреич сидел у стола, под зеленой лампой. Не без суровости взглянул карими, умными глазами, из-под пенснэ, на посетительницу.

Притворив за собой дверь, женщина невысокого роста, с усталым лицом, по виду нечто среднее между

советской учительницей, конторщицей или просто работницей, несмело остановилась близ входа.

— Извиняюсь, может быть, помешала. Но всего лишь на минутку.

Серые глаза ее, очень простонародные (как и неказистый нос, довольно широкий) смотрели открыто, но в глубине их чувствовалось подавленное волнение.

— Садитесь.

Геннадий Андреич глядел на нее всё так-же серьезно, почти строго.

Она осторожно села.

— Я пришла поблагодарить вас, что заступились за моего сына.

— Это пустяки-с. Благодарить не за что.

Она вдруг смутилась.

— Вы наверно подумали, что Сеня украл...

— Нет, как раз не подумал. Решительно ничего не подумал, допустить же происходившего не мог.

Он говорил внушительно, так же неотразимо, как и тогда, когда двинулся на сапожника.

— Но конечно, бить баклуши мальчику там нечего-с, в нашем подвале.

Посетительница встрепенулась.

— Знаю, конечно. Жить очень трудно, всего не устроишь. И опять же я одна... целый день на работе. Если бы муж был... Ну, а Сеню всё-таки в школу устрою, очень скоро теперь, хотя он и маленький.

— Вы вдова?

— Нет... но мы разошлись.

— Жить, говорите, трудно: верю. Верю-с, а особенно одной.

Геннадий Андреич снял пенснэ и привычным жестом зацепил за отворот пиджака. «Трудно, трудно», повторялось как бы само собою в душе. «Да, вот в этом подвале, среди всяких сапожников, разных баб, мастеровых...».

— Я теперешних детей весьма жалею-с, сказал он неожиданно, и скорей для себя самого, чем для этой незнакомой и далекой ему женщины.

— В детстве сам видел много тяжелого, хотя тогда всё было по-другому. А теперь...

— Сеня всё-таки не какой-нибудь беспризорный. Я его мать. Вы увидите, я его устрою, постараюсь дать образование, чтобы он счастливее оказался, чем мы...

Теперь волнение ее проступило явственно, и слегка разрумянило не замечательное лицо.

— И в добрый час, помогай Бог, произнес вдруг Геннадий Андреич с такой простотой, точно говорил не с неведомой посетительницей, а с родной дочерью Анной.

— Жизнь даже очень трудна-с, но мы не должны ей уступать. Мы должны жить и действовать так, как считаем правильным.

Женщина поднялась.

— Еще раз благодарю. Простите, что побеспокоила. Вы человек ученый, занятой.

— Ничего, ничего. Если чем смогу помочь насчет сына, то охотно.

**
*

В молодости Геннадий Андреич был равнодушен к детям. Женившись рано, полагал, что дети неизбежность, ничего не поделаешь. Так первую половину жизни и прожил. Но с годами многое изменилось. К внукам появилось у него уже не то отношение, как к своим детям. Анна, в письмах к Элли, не преувеличивала, да и сама Элли это чувствовала — уже по одному тому, что теперь Геннадий Андреич писал отдельно и Тане, целые письма: вещь невообразимая в детстве самой Элли.

А потомство его расло и расло, разрасталось как в самой Москве, так и заграницей. Лиза, старшая дочь Анны, совсем недавно еще прелестная девочка, игравшая в Москве в куклы, вышла замуж за шведа из посольства и жила в Стокгольме. У самой ней появился сын. «Правнук мой полу-швед», говорил Геннадий Андреич помощнику своему по Музею, тихому археологу Игнатию Иванычу. «Лизочка пишет, что будет учить сына русскому языку отдельно, особенно, чтобы знал его. Да я сомневаюсь. Где же в чужой стране сохранить нашу речь?».

Вторая дочь Анны вышла в Москве за советского служащего. Сын Лины Петр тоже женился, и у него тоже дети. Таня, как оказывается, ходит в Париже в Лицей и на присланной фотографии вовсе не та десятилетняя девочка, которой он на прощанье подарил образок Николая Чудотворца. «Никогда не увижу, конечно», говорил сам себе, разглядывая сквозь пенснэ фотографию: «ну, да что же поделать. Так получается».

В том и страшном, и тягостном, что надвинулось в жизни, для него оставалось — кроме древностей и Музея (это главное) — еще странная, прежде не существовавшая сторона деятельности: давала радость близость с дочерьми, их потомством. Нравилось переписываться с Элли, Таней. Нравилось привозить в Москве детям подарки, какое ни на есть принимать участие в елках, именинах, днях рождения. Подарки, для Запада показавшиеся бы убогими, здесь принимались с таким воодушевлением, что Геннадий Андреич сам веселел.

— Я становлюсь некиим дедом-морозом, или Knecht-Ruprecht'ом, говорил улыбаясь Анне, глядя, как дети возятся вокруг елки с разными его приношениями (кое-что вытаскивалось и из похоронок Земляного вала: ископаемые предшествующей геологической эпохи).

Анна сияла.

— Папа, ты всегда так добр к детям, они тебя обожают.

— Обожать меня не за что-с, а что могу для восходящего племени, то, конечно, охотно...

Он теперь не стеснял детей — внуки, правнуки не боялись его, как некогда его собственные дети. И в себе самом мог он наблюдать более общую перемену: стало менее нетерпимости к молодым, тем, которые жили своей жизнью, далекою от его интересов, но для них важною. Петр учился в авиационной школе, Катенька занималась водным спортом. Даже барон, не такой уже молодой, но всё еще Юрочка, для Геннадия Андреича часть мира и своего и чуждого, не раздражал своим теннисом. «Мы сходим, они появляются, конечно другие, как меняется жизнь, как течет всё и не удержишь, да и удерживать нельзя... Нет, нет, нельзя». Вместе с тем его удивляло, и отчасти радовало, что теперь не только дети, которым он приносил игрушки, но и более взрослые из молодых его мира, такие не близкие по интересам, относились к нему даже с бóльшим чем раньше почтением: как к историческому монументу.

Однажды явился к нему в Музей барон. Геннадий Андреич удивился.

— Дядя Геня, мне нужно с тобою поговорить наедине.

Если бы это случилось раньше, во время чтения Агнессе Ивановне Герцена, Геннадий Андреич подумал бы, что сейчас он попросит денег. Но теперь не подумал.

Предчувствуя, всё же, разговор серьезный, застегнул обе пуговицы двубортного довоенного пиджака.

Барон начал издали.

— Может быть, тебе покажется странным. Я в твоих глазах легкомысленный тип, вроде авантюриста.

Профессия моя несерьезная и уж очень мало подходящая к твоим монетам.

Он оглядел кабинет Геннадия Андреича.

— Сколько книг! Вон, разные рукописи. А я в теннис играю, так то вот с ранних лет. И вообще чем Бог пошлет, тем и промышлял всегда. Но я около твоего дома вырос. Помню Аню и Элли и Лину девочками, а тетя Агнесса так всегда ко мне добра была... Короче говоря: люблю ваш колесниковский дом, ныне разоренный, со всей его смесью учености и — прости меня — нелепицы, русско-московской бестолков'цины. Раньше я тебя одного боялся, дядя Геня, а теперь даже и тебя не боюсь, а считаю тоже своим, даже люблю... Неожиданно? Да ведь я сентименталист, в своем роде тоже устарелый тип.

Барон вдруг остановился, сделал руками изящный жест, как бы воздушный поцелуй.

Геннадий Андреич усмехнулся По нервному и тонкому лицу барона прошла зыбь.

— Для тебя, конечно, человек, у которого пятая жена, уважения внушать не может.

Геннадий Андреич надел пенснэ.

— Пятая-с! Как это ты успеваешь? И как управляешься?

— Вот уж так, пятая и никаких рябчиков.

Портрет Забелина, седого, с длинной бородой, смотрел серьезно со стены: домашний быт русских царей.

— Но сколько бы у меня ни накопилось грехов, долгов, романов, приключений, жен, полу-жен, я к вашему Земляному валу прирос с детства. И вот теперь, когда уезжаю, особенно это ощутил.

Он остановился, обвел взглядом комнату, понизил голос.

— Надеюсь, не подслушивают?

— Некому, некому...

— Дядл Гсня, я зашел к тебе проститься. И к тетс Агнессе зайду, конечно. Но там я ее обниму... — матсри я не помню, не знаю. Обниму именно вот как мать и оба мы заревем.

— Да в чем дело? Куда это ты собрался?

— Т-сс!

Барон встал, даже слегка вытянулся вверх.

— Молчание! Silentium, как сказал гениальный Тютчев. Со своей пятой женой, очаровательной Клавдией, я уезжаю на Кавказ и даже далее. В Баку, дорогой дядя Геня, но не с тем, чтобы повысить добычу нефти, а как главный инструктор спорта. Да, Клавдия в балет, я же по спорту. А там, знаешь, недалеко Турция, Персия...

Геннадий Андреич снял пенснэ.

— Понимаю.

Барон добавил еще тише:

— Москвы болсе не увижу. И России тоже. Всё это здесь надолго, очень даже надолго. Я не политик. И никого свергать не собираюсь. Но тут больше не могу. Клавдия тоже. Дядя Геня, ты должен это понять.

Барон сделал руками жсст — воздуха не хватаст.

— Как не понять-с...

Помолчали. Барон сидел тихо и грустно. Геннадий Андреич сказал спокойно:

— Мы, старые, здесь и ляжем. Нам оставаться. А молодые рвутся. Жить хочется. Понимаю.

Барон вдруг подошел и обнял его.

— Дядя Геня, ну какой ты милый... Смотри, как бы я и с тобой не заплакал. Ты ведь для меня тоже детство, Москва, Земляной вал...

— Ну это, уж знаешь, на счет слез... — мы мужчины. Это уж слишком.

Барон вдруг засмеялся, почти детским смехом.

— Ах, чтó я вспомнил! Какой пред тобой грех, вот теперь и покаюсь.

И рассказал, как давно, в мирные времена, еще мальчишкой, зашел он раз в кабинет Геннадия Андреича на Земляном валу, стал там рассматривать восковые слепки монет, что-то двинул неосторожно, слепки эти упали и некоторые разбились.

— Мне было лет восемнадцать, но я боялся тебя как огня, и говоря попросту удрал, месяц в доме не показывался, а обвинили во всем кота, будто бы он к тебе в кабинет забрался и свалил. Ты очень рассердился.

Геннадий Андреич улыбнулся.

— Помню. Так это ты тогда натворил...

Барон еще раз его обнял и ушел. Никогда не был он, конечно, близок, но сейчас удалялся с ним тоже осколок давнего. И Геннадий Андреич не без задумчивости продолжал заниматься своим делом, в окне же летел снег, тихими, крупными хлопьями — тихо всё укрывал. Перед сумерками он оделся и вышел.

Кроме обычного своего путешествия в Музей и домой обратно, редко выходил теперь Геннадий Андреич в город. Но сейчас надо было зайти на Кузнецкий, в книжный магазин: хотел купить к Рождеству Пушкина одному из внуков.

Москва сильно изменилась. В некоторые ее части он и вообще бы не пошел: на Сухаревку, где снесли Сухареву башню, на площадь Храма Спасителя, золотой купол которого некогда издали, за двадцать верст блестел над Москвой, в туманном сиянии: теперь на его месте зияла дыра, обнесенная забором.

Сейчас тоже невесело было проходить мимо пустого места Иверской часовни. Но прошел. И пересекши Театральную площадь — над Большим Театром, на фасаде, всё еще неслись победоносные кони — мимо прежнего Мюра и Мерилиза вышел на Кузнецкий мост.

Снег усилился, сумерки надвигались. Непрерывность белых хлопьев, их беззвучность, как бы невесо-

мость, придавали некую таинственность самим местам. «Заносит и заносит, так и меня скоро занесет на Введенских горах...».

Пушкина в книжном магазине он достал без затруднения. Надев пенснэ, рассматривал и другие книги, современных авторов. (При виде Маяковского содрогнулся, подавляя вздох отошел). Неожиданно глаза наткнулись на название: «Белый свет» — легкая нервная волна вдруг прошла по нем: на обложке стояло имя Глеба. Он взял книжку.

— Это антиквариат, довоенного издания, сказал заведующий. — Несколько экземпляров осталось.

— Вижу, вижу...

Геннадий Андреич почти ничего не читал Глеба, считал его тоже «модернистом», и не близким. Но сейчас его имя взволновало. Всё-таки муж Элли, отец Тани. Он купил и этот «Белый свет». («Напишу Елене в Париж, ей конечно будет интересно»).

Когда вышел из магазина, уже стемнело. Как и в прежние времена блестели сквозь снег фонари Кузнецкого и шаги едва слышались; едва поскрипывали зимние его калоши по спокойно нараставшему на тротуаре снегу.

На углу Неглинного худенькая женская фигурка остановила его.

— Не узнаете?

Из-под старомодного капюшона выбивались полуседые волосы, знакомые глаза ласково светились.

— Аделаида Антоновна, батюшки мои, как не узнать, как не узнать-с.

Знаменитая Занетти взяла его под руку.

— Я могу пройти с вами немного вот тут по Неглинному? говорила она с легким иностранным акцентом.

— Если бы я была молодая, я могла бы вас компрометировать, но теперь ничего.

— Идемте, идемте-с, очень рад встретиться. Ну, как вы, как ваша Катенька?

Дмитрий Дмитриевич умер два года назад, так из Москвы никуда и не бежав — умер во-время, до него не успели еще добраться. На его похоронах Геннадий Андреич был. Видел иногда и Аделаиду. Но редко. А теперь искренно обрадовался, встретив ее.

— Катенька служит в Комиссариате Иностранных дел. Ничего, а я уроки даю, ничего, вы замечаете, мы не погибаем. Я получаю сорок два рубля в месяц.

Геннадий Андреич улыбался.

— Блестяще. Замечаю. Слава Богу!

— Как это у вас в церкви поется: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человецех благоволение...». Я хотя иностранка, но Дмитрий Дмитриевич это любил, он очень любил, и я поэтому знаю...

Так шли они по Неглинному, неторопливо разговаривая, всё более белея от снега, всё неслышнее ступая по его нарастающему покрову. Пересекли Софийку, приближались к Театральному проезду.

Занетти обернулась в сторону театров.

— А вы помните, я ведь неплохо танцовала?

— Танцовали божественно-с. Это *я* вам говорю.

Занетти остановилась, сделала легкий жест рукой в направлении театру.

— Да, вот там моя слава, и вообще, этот город Москва, здесь прошла моя жизнь... — довольно удивительно! Я была тут очень счастлива. Вы ведь любили Дмитрия Дмитриевича? Вы его друг, я знаю...

— Прекраснейший человек-с, я его всегда очень ценил.

— Знаменитая балерина... но представьте, счастлива я оказалась потому, что вот Дмитрий Дмитриевич так меня любил.

Они стояли на тротуаре, снег медленно и прохладно заносил их.

Занетти продолжала с некиим как бы удивлением.

— Даже не понимаю, за что он меня так любил.. Но вот всё и прошло. Тс есть, эта счастливая жизнь, а не любовь. Любовь же всегда существует, и за гробом. И он меня попрежнему любит — оттуда! Да, любит. И я его — отсюда. А уж теперь скоро встретимся.

Она вдруг улыбнулась, по-детски взяла рукой руку Геннадия Андреича у локтя и слегка погладила ее.

— Я рада, что вас нынче встретила, потому что вы его друг. Да, да, а в общем я заговорилась и зашла далеко, мне пора. И мне совсем в другую сторону.

Она пожала ему руку.

— До свиданья!

И вдруг тут же на тротуаре, точно стряхнув года, в шубке своей и калошах сделала то волшебное па, от которого замирал некогда Большой театр.

А потом, легко взмахнув ручкой, будто собираясь улетать, быстро и беззвучно потонула в снежной мгле.

Геннадий же Андреич взял извозчика. Потряхивая на ухабах, извозчик медленно вез его чрез Москву на Земляной вал. Геннадий Андреич прочно держал свой пакет с книгами. «Да, да, такая же осталась... Всё в порядке. Несмотря ни на что-с...».

И ему было даже страшно, но как-то и радостно, что вот на Неглинном, в полуголодной Москве, при убогой жизни, пред ним вдруг явилась волшебница.

МАЛАЯ ЛЕТОПИСЬ ПЛЮЩИХИ

Дом на Плющихе не весьма был наряден, но довольно удобен: двухэтажный, с просторным двором, разными сарайчиками, закутами, даже кой-где с зеленой травкой и собственной липой на дворе — половина ее свешивалась над чужим владением. Можно сказать о нем: средней давности особнячок в Москве, ныне обогнанный планетарным ходом истории.

Верх занимали Мстислав Казимирович и Собачка. Там же и мать. Ксану перевели вниз к Прасковье Ивановне, а в комнате рядом жила Евдокия Михайловна, специалистка по дефективным детям — худенькая, невысокая дама, скромно одетая, с остроугольным лицом и задумчивыми глазами.

Мстислав Казимирович пропадал в своем учреждении, Собачка — в больнице — как всегда к свежести и здоровью тела присоединялся в ней некий лекарственно-больничный привкус. Ксана училась на бухгалтерских курсах, иногда плакала, готовясь к зачетам.

Евдокия Михайловна отдавалась своим дефективным. Здоровье ее было слабовато — начинался диабет.

Собачка за ее здоровьем наблюдала, как и за сердцем матери.

— Душенька, душенька, — говорила Евдокии, — вы со своими идиотами не надрывайтесь. Диабет такая вещь, утомление для него первый враг. Идиоты всё равно такими же болванами останутся. Здоровье важнее возни с выродками и всяких ученых изысканий.

Евдокия Михайловна улыбалась.

— Они вовсе не выродки. Просто очень несчастные дети. Хорошо еще, что не беспризорные...

— Знаю, знаю. Вы там со своим профессором разводите образцовый питомник. Знаю и уважаю, и даже ваше учрежденьице колом выпирает из всего окружающего, ну, да вы интеллигентка, аптечки и библиотечки, отдавать себя народу-богоносцу...

— А вы сами в больнице с утра до вечера и тоже стараетесь.

— И как же мне надоели эти родильницы, представительницы великого коллектива! При первых же схватках начинают пищать: «Ах, никогда больше не буду», а через год та же самая... ненавистница мужчин у нас же, как миленькая, и я принимаю нового гражданина для трудового отечества. Как выберется на свет Божий, так и готовый стахановец.

Евдокия Михайловна всё улыбалась.

— Появляются и появляются. Ничего не поделаешь. Закон жизни. Да, ведь, и вы так говорите, а если с вашей родильницей какое-нибудь осложнение, так вы в лепешку для нее расшибетесь...

— Ну, это во мне профессиональное.

— То-то вот и профессиональное. А меня интеллигенткой дразните.

Евдокия Михайловна и действительно была интеллигентка (как и сама Собачка, только сильнее выраженная). Училась некогда на Бестужевских курсах, слушала всех Кареевых, Гревсов, замуж вышла за студента-технолога — позже крупного инженера — и разошлась с ним. Сейчас жила затворнически. Кроме работы занималась только церковью, в ближнем приходе о. Виктора, священника из молодых, которого весьма почитала.

— Тстечка, тетечка, — говорила о ней Собачка матери. — По-моему, наша Евдокия вроде монашки. Живьем хочет быть взята на небо.

Насчет небес и монашек у матери взгляды были прохладные. Но к Евдокии Михайловне она относилась с уважением.

— Образованная женщина и достойная. Наверное хорошая воспитательница. Про себя мать думала: «Странно, что образованная, а так отдается религии».

Как и покойный отец, как всё то поколение, считала, что священники, церкви, обедни — для простого народа. Люди «нашего круга» этим не занимаются. И с удивлением узнала, что именно о. Виктор окончил университет, да еще по естественному факультету, и вообще весьма просвещенный.

— Тетечка, знаешь, знаешь, у Евдокии было ведь большое горе. Ах, ужасная история. В самом начале революции, помнишь, когда она еще бескровной называлась, февральская, в первый же день в Петербурге убили ее сына — он молоденьким офицером был выпущен в Измайловский полк. У меня детей никогда не было, но я так понимаю... я бы с ума сошла.

— Да, — сказала мать, — страшное горе, конечно. Оно может вызвать в человеке всякие странности.

Горю Евдокии Михайловны мать весьма сочувствовала. Но у ней являлось и объяснение: по слабости, стараясь найти утешение, и обратилась она к религии. Это больше понятно.

— Тетечка, ты подумай: Сережа почти накануне всего этого кончил Павловское училище, в первом десятке. Ему дали вакансию в лучший гвардейский полк — он и стал измайловцем. Я его еще мальчиком помню — его отец товарищ Мстислава по Технологическому. Трудный был ребенок, горячий, нервный, сколько она с ним возилась, но вырос красавцем-юношей —

очень прямой при этом и честный — знаешь, с оттенком рыцарства, как раз того, что для теперешних сволочей меньше всего требуется. А дальше идет уже судьба, или воля Божья, понимай как знаешь. В день 27 февраля — не тем денек будь помянут, — этому Сереже пришлось быть дежурным по полку. Нарядный, в фуражке офицерской, всё с иголочки, ремни снаряжения, в кобуре револьвер. Дежурный по полку в день революции!

Мать подняла глаза — она чинила белье — сквозь пенснэ серьезно посмотрела на нее.

— Да, какая случайность!

— Случайность ли, нет ли, только он по полковому двору расхаживает — а уж беспорядок полнейший, все почти разбежались и солдаты, да и офицеры, он один в своей новенькой формс, со стэком. Около полудня у ворот толпа. Ворота заперты. А калитка открыта. Он и вышел к калитке. Тетечка, ты понимаешь... — Голос Собачки дрогнул, на мгновенье она задохнулась.

— Он загородил дорогу богоносцам. А они тут же и закололи его штыками, изрубили саблями. Это и называется бескровная. А Евдокия находилась в Калуге, работала там в своей школе. Ну, и приехала, разумеется, в Петербург. Можешь себе представить, как всё это происходило...

Мать сняла пенснэ и отложила шитье в сторону.

— Добралась до Петербурга через несколько дней. И нашла тело сына, совершенно обнаженное, всё исколотое, полузамерзшее, в каком-то сарайчике. Обобрали на всякий случай для утверждения свободы. Пропили всю его одежду, ремни, револьвер, это уж как полагается. Насилу добилась выдачи тела. А потом похороны, под улюлюканье, свист... Тетечка, она большой крест несет. Но посмотри ты, как...

***

В однообразии дней время текло для матери довольно мирно, и даже часть прежней жизни будто бы сохранилась — эта часть была Ксана, Собачка, Прасковья Ивановна, возможность жить по своим привычкам, вечерами раскладывать пасьянс.

Делала она это, как и в Прошине, тоже в столовой, и Ксана, почти взрослая уже девушка, такая же всё тихая и болезненная, нередко присутствовала (если не уходила куда-нибудь на собрание клуба или в театр): в ней смешивалось прежнее, прошинское, в чем выросла, с окружающим новым, но и в новом этом было неожиданное — с Евдокией Михайловной часто ходила она теперь в церковь, чего раньше не знала. И это ей нравилось. Нравилось и сидеть с «бабушкой», когда та раскладывает пасьянс, робко смотреть на знакомые карты, ложившиеся причудливыми узорами, слышать знакомые с детства вздохи, иногда прислоняться к бабушкину плечу, как к опоре незыблемой.

— Иди спать, смотри, глаза слипаются. Завтра опять ученье...

Сама же мать, чем дальше шли дни, сильнее внедрялась в мечтания об отъезде. Говорила об этом мало, но действовала. Просто она начала хлопоты. Заполняла анкеты, потом добавления, доставала свидетельства: новые анкеты. Ждала ответов — или это были отсрочки, или требования новых сведений. Но ничто ее не смущало; она отыскивала другие связи. Теперь уже и Собачка и Анна были вовлечены в дело. Куда-то ездили, хлопотали о том, чтобы сильные мира сего поддержали ходатайства. Матери было всё равно куда

подавать. Она убедилась теперь в одном: Глеб с Элли и Таней не вернутся. Значит, надо самой трогаться. Значит, надо хлопотать.

В небольшом, суховатом от годов теле будто бы это только и жило, и двигало — вынь устремление, существо, называемое «бабушка», или «мать», затихнет, как многолетние часы с ослабевшей от годов пружиной.

Евдокия Михайловна тоже вошла в круг бабушкиных домогательств — содействовала чем могла: вспоминала прежние знакомства и давала письма. Иногда ездила осведомляться вместо матери. Это сближало их. Евдокия Михайловна заходила теперь к ней нередко и без дела, просто в свободную минуту.

— Славная у вас девушка эта Ксана, — сказала она однажды матери в разговоре. — Нельзя сказать, чтобы быстра и расторопна, но верна. На нее можно положиться. Как это вы ее такую вырастили?

— Нет, что же, просто у нас в доме выросла вместе с моей внучкой Таней. Она хорошая, но слабовата здоровьем и робка. Для теперешней жизни не совсем подходяще.

Евдокия Михайловна молчала. В доме тоже было совсем тихо, окна в столовой, где они сидели, отворены, золотой июльский вечер входил со двора — липа благоухала и слегка струилась листиками в предзакатном солнце.

Мать, по обыкновению, шила. Евдокия Михайловна сидела лицом к окнам, в кресле, маленькие ручки на подлокотниках.

Точно бы она отдыхала. Большие карие глаза разглядывали задумчиво не то липу, облитую блеском, не то небо кристально-златистого вечера.

Она вдруг глубоко вздохнула — будто страница перевернулась в ней с этим вздохом.

— Как вам сказать, а может быть робость, кро-

тость и некоторое смирение как раз и помогут ей в теперешней жестокой жизни.

Мать покачала головой:

— Сомневаюсь.

Помолчав, добавила:

— Вот, собираюсь уезжать, а о ней сердце неспокойно. Кто за ней без меня присмотрит?

— Ну, Бог даст и устроится...

— Я знаю, что вы к ней очень добры. Не бросайте ее, когда меня здесь не будет. Только не делайте из нее... монашку. Она еще молода, ей жизнь нужна. В будущем семья, дети.

Мать не добавила «любовь». Всё «такое», любовное и романтическое, считала она пустяками.

Евдокия Михайловна улыбнулась:

— Я никакой монашки из нее делать и не собираюсь. А что она в церковь теперь чаще ходит и к кружку о. Виктора стала ближе, это, я считаю, только ей на пользу.

— Кружки, кружки... опасно по нашим временам. Смотрите, как бы вас на цугундер за эти кружки не потянули.

— Нет, почему же?.. Мы при храме, у нас сестричество. Мы занимаемся помощью бедным и обездоленным, с о. Виктором читаем Священное Писание, он нам объясняет. Тут политики никакой нет.

Мать посмотрела на нее недоверчиво.

— Само то, что вы божественными делами занимаетесь, уже опасно.

— Варвара Степановна, — ответила она тихо, но довольно твердо, — что же в жизни теперь осталось, кроме этого? Если отказаться от высшего, то ведь чем же жить именно вот в этом страшном мире? Опасно, или не опасно...

Мать ничего не ответила. Евдокия Михайловна продолжала:

— Ведь у вас есть свой высший мир, своя любовь. Вы стремитесь быть с сыном, его семьей, служить ему. Я понимаю это. У меня и самой был сын, я ему так же, как вы, всё отдавала.

Она вдруг умолкла. Мать вздохнула.

— Да, знаю. Мне племянница кое-что рассказывала.

Отворилась дверь. Вошла Ксана. На ней было светлое платьице с передничком. От ходьбы она чуть порозовела, обычная лимфатичность смягчалась, — это ее украшало.

Евдокия Михайловна улыбнулась.

— Как раз о тебе говорили...

Ксана подошла, поцеловала ее и бабушку.

— Я заходила к о. Виктору. Он просил передать, известить всех — собрание будет не в четверг, а в пятницу.

— Вот и отлично, — сказала Евдокия Михайловна, — мне как раз и удобнее.

Ксана взяла со стола, на тарелке, яблоко. Как бы извиняясь, обратилась к матери:

— Жарко, яблочко хорошее...

Яблоко было «коричневое», яровое, сладкое. Ксана неторопливо откусила, поглядела на Евдокию Михайловну неяркими, несколько золотушными глазами, улыбнулась.

— Это наши, прошинские яблоки. Мужики знакомые из деревни приезжали, бабушке привезли в подарок.

Евдокия Михайловна поднялась.

— Мне надо еще к докладу готовиться. Ваша племянница подсмеивается надо мной, что я всё с дефективными вожусь, но уж кто к чему приставлен.

— Смотрите, не надорвитесь...

— Трудно теперь отстать, если бы и захотела. Но я не хочу. Это очень интересно.

Когда она вышла, мать подняла на Ксану от шитья глаза, сняла пенснэ.

— Тебе она нравится?

Ксана помолчала. Потом тихо ответила:

— Очень.

— Ну вот, я и покойна буду, что оставлю тебя с такой как она.

Ксана подошла к ней, взяла руку и поцеловала.

— Мне тебя никто заменить не может.

***

Мстислав Казимирович легко воспламенялся, вскипал, потом, как неврастеник, впадал в уныние и меланхолию. Чтобы утешиться, читал тогда Библию.

Инженером считался он отличным, всегда много зарабатывал, но никак в инженерство свое не мог вместиться. По энциклопедическому словарю изучал медицину, лечил сам себя от воображаемых болезней, и одновременно составлял планы немедленного спасения России (входила сюда и надежда на помощь Римского Папы). По Апокалипсису высчитывал сроки. Иногда, закатывая под лоб голубые глаза он лихорадочно изводил Собачку своими мечтаниями и доказательствами того, что «этому» срок — 2 года и 5½ месяцев.

По натуре отзывчивый, он раздавал много, но порядочно и собрал, несмотря на то, что раза два прогорал еще в прежней жизни на рискованных предприятиях. В революцию у него скопилось некое золото — он считал, что хранить его надо непременно — и Собачке надлежало выслушивать и стараться понять, для чего монеты эти назначаются: то ли на случай войны, то ли для бегства, или помощи в свержении режима. Планы менялись в связи с нервами и Собачка привычно впу-

скала рассуждения его в одно ухо, а в другое выпускала: никак в ней они не задерживались.

На какую бы цель ни назначались, полуимпериалы эти, императорских времен, покоились в земле, в жестяной коробке, как раз в двух шагах от липы во дворе. Там лежал большой булыжник, если его отвалить...

Это место было для него священно. Иногда по ночам, волнуясь и даже шепча молитву, он с потайным фонариком, когда все спали, выходил проверять сокровища — хоть на Скупого рыцаря не походил вовсе.

— Бабушка, — сказала раз утром Ксана, зайдя к ней, я нынче ночью как перепугалась...

— Чего же пугаться? Дом полон жильцов, всё тихо. Разве сон какой-нибудь плохой видела?

— Не сон. Я читала на ночь, потом легла, долго не могла заснуть... до рассвета уж недалеко, но темно всё-таки. Вдруг вижу — по двору огонек движется. Я испугалась. Думаю, а вдруг воры?

— Герунда! Какие тут могут быть воры?

Воры-то отлично могли быть, но мать всегда считала, что ничего страшного и необычного произойти не может: пережив и войну, и революцию, никак не могла выйти она из внутреннего равновесия, совершенно несокрушимого.

Ксана тихо почесала себе пробор пальчиком на голове.

— Это и не воры были, бабушка. Я встала с постели, потихоньку, чтобы маму не будить. Подошла к окну поближе—вижу Мстислав Казимирович с фонариком, и прямо к камню под липой. Там он сидел, что-то отваливал, как будто вынимал или клал, я уж не рассмотрела. У меня очень сердце билось, ноги холодные, прямо отнимаются... И что там он делал, как ты думаешь?

Мать чувствовала себя в это утро вообще усталой.

Тоже плохо спала ночь, болело где-то внутри, ниже левого плеча. Была сейчас сумрачна.

— Это всё тебе примерещилось. И, пожалуйста, не вздумай еще кому-нибудь рассказывать.

Ксана робко подняла на нее глаза, будто в чем провинилась. Глаза эти были слегка воспалены, как бы и натружены чтением.

— Нет, правда-правда не примерещилось! Три раза правда.

— Вот будешь на ночь каши много есть, и не такие еще вещи увидишь.

Ксана замолчала. Она наверно знала, что это вовсе не сон, и видела она именно Мстислава Казимировича, но раз бабушка находила, что не видела, у нее не хватало сил настаивать. Поняла она только, что рассказывать о виденном нельзя, в этом есть что-то тайное. И Мстислав Казимирович мог быть покойным: ничего Ксана не разболтала бы.

Мать же перевела разговор на другое. О зарытых монетах знала, но распространяться об этом, даже с Ксаной, считала излишним. Так и осталась официальная версия: Ксана наелась с вечера каши и видела во сне всякий вздор.

Для самой же матери день этот оказался невеселым. Было жарко. В жару ей вообще становилось хуже, замирало и трепетало сердце. Так вышло и нынче — приходилось много лежать.

Перед вечером к ней зашла Евдокия Михайловна.

— Душно, — сказала она. — Вы не находите? Гроза будет, небо заволокло, дышать нечем.

Мать слабо ответила со своего диванчика:

— Ничего, пройдет!

Евдокия Михайловна была особенно утомлена, видимо и расстроена. Сидела у диванчика в кресле с таким видом, что вот бы так и сидеть, не двигаться, не вставать вовсе.

— Ездила ваша племянница к тому коммунисту, который из Одессы приехал? Я еще письмо к нему дала.

— Ездила.

— Что же он?

— Обещал на-днях сделать.

Евдокия Михайловна вздохнула.

— Я ему в прежние времена много помогала. Значит, не забыл. От него много зависит. Теперь, Бог даст, скоро можно будет вам трогаться. Сколько раз вам отказывали?

— Пятнадцать. В шестнадцатый подаем.

Мать говорила тихо, но в само́м слабом голосе ее был такой спокойный, непоколебимый оттенок, что всё равно: если откажут в шестнадцатый, подаст в семнадцатый.

— Нет, теперь вы получите. Если он согласился поручиться... да ведь он и Глеба Николаевича знал здесь.

В комнате понемногу темнело. Собиралась туча — сумрачная и неотразимая, иногда в ней поблескивали дальние молнии. На ее фиолетовом фоне дым из маленькой фабричной трубы казался почти белым.

Несколько времени молчали.

— У нас в кружке горе, — сказала вдруг Евдокия Михайловна. — У Поповой давно уже был арестован сын. И вдруг перестали принимать передачи. Вчера окончательно выяснилось: расстрелян. Там же, в подвале, как они это делают. А возраст его — девятнадцать лет.

Мать сняла платочек, которым обычно прикрывала глаза от света и повернулась лицом к ней.

— Да не может быть! Это который у нас тут бывал и помогал делать задачи Ксане? Павлик?

— Да, Павлик Попов.

— За что же?

— Ну, пристроили к какому-нибудь заговору... мало ли за что. Не его одного. Никогда не узнаешь.

Опять замолчали. Только вдалеке урчал гром, да ветер пролетал по Плющихе вихрем, взметая пыль.

— Когда мой сын погиб, — продолжала Евдокия Михайловна, — на меня нашло странное, как бы стеклянное спокойствие... точно я от всего мира отделена. *Они* там, а *я* здесь. Некоторые считали, что я холодна, или там бесчувственна. Для меня Сережа был всем в этой жизни, и его взяли. Но Господь не оставил меня тогда. Он не дал мне впасть в отчаяние. Я себе говорила: «Да будет воля Твоя!». Взял, — значит к лучшему. Значит, для чего-то надо было. Могло быть и хуже. У Поповой и вышло хуже — Бог знает, что они там в тюрьме претерпели.

Мать опять повернулась на спину и накрыла лицо платочком. Из-под угла его медленно выползла слеза.

— О, Боже мой! Боже мой!

Евдокия Михайловна сидела тихо, прочно, как бы вновь была за стеклянной стеной.

— Я иногда мечтаю... фантазии, конечно. Дожить бы до того дня, когда во славу всех убиенных и умученных будет построен храм... Спаса на Крови, и вот там молиться о них, и там их любить. И там другие помолятся о нас, страждущих матерях, которым никогда уж не забыть детей своих... никогда, как бы мы ни казались сдержанными.

Она вдруг отвернула лицо к спинке кресла. Лоб прижала к бархату его, потертому и запыленному, точно не хотела, чтобы кто видел ее лицо. Но никто не смотрел, а Господь всё равно видел. И в разразившихся ударах грома, в блеске молний и сплошном белом ливне отделены были опять обе эти женщины — лежавшая и сидевшая — от остального мира, клокотавшего в стихийных страстях.

Дождь был бурнейший, но продолжался недолго.

Ветер пронес грозу дальше, в трепете молний и серо-зеленой туче, теперь уходившей. Евдокия Михайловна встала и отворила окно.

Понемногу дождь стал стихать. А потом перестал вовсе. Гром гремел, уходя. Бездна разверзалась — тишины, глубины, благоухания. В окно втекал посветлевший легкий, сияющий знаком Царствия воздух.

— Легче стало дышать, — произнесла тихо мать.

Вошла Ксана. Она тоже подошла к окну, высунулась даже из него. Плющиха была безмолвна. Ни человека, ни лошади. Не очнулась еще жизнь от грозы.

— Бабушка, сказала Ксана, смотри — радуга...

Радуга вознеслась, правда, райскою дугой, упиралась нижним концом чуть ли не в их дом. Вся пела неземными переливами цветов.

— У нас так в Прошине пахло, помнишь, бабушка, после дождя? Еще жасмин у балкона цвел.

Евдокия Михайловна поднялась, подошла к Ксане, слегка ее обняла.

— Ксана, завтра мы служим панихиду у о. Виктора. Павлика Попова расстреляли.

***

Солнце ярко светило, небо чистое, крепкое, кое-где пухлые облачка, прохладный ветер — начало русского августа, когда в деревне убирают овес, когда ястреба одиноко плывут в синеве, их особенно много в августе. Этот день был свеж, бодр и везде, и на старой Плющихе, выходящей на Девичье поле, где у Погодина жил некогда Гоголь, где не так давно трудился в клиниках муж Анны.

В двухэтажном особняке с липой во дворе и зарытым сокровищем всё текло жизнью обычной: Ксана

училась, Евдокия воспитывала, Собачка лечила, Мстислав Казимирович ездил в свой Главметалл, пробовал новые средства против печени, сочинял новые планы спасения человечества. Но именно в этот сияющий день, заметавший великолепием своим безвестную могилу Павлика, в особняке на Плющихе произошло некоторое событие.

Мать и Собачка с утра выехали на дребезжавшем извозчике в те места центра Москвы, откуда управлялась вся громадная страна, где решались разные судьбы — жизни ли, смерти, удачи, гибели. Мать, как обычно, прямо и непоколебимо восседала на извозчичьей пролетке, августовский ветер потрепывал на ее шляпе то страусовое перо, которое всегда было, всегда будет. Собачка была так же румяна, могуча, раз навсегда полна ненависти к хозяевам и дворцам их, так же должна сдерживаться, чтобы не повредить себе или матери.

Ехали они в шестнадцатый раз всё за тем же. И как всякий день отличается от предыдущего, так и этот тем был особенный и замечательный, что в одиннадцать часов двадцать минут мать получила те бумаги, что нужны ей были для выезда — восьмидесятилетнею рукой, писавшей с твердым знаком и через *ять*, но не дрогнувшей, расписалась в их получении.

С той минуты дом на Плющихе перестал для нее существовать. Извозчик вез с Лубянки некую иную даму со страусовым пером, уже уплывавшую в дальние пространства Запада. Мать находилась еще здесь, у Собачки, но ее как бы и не было. Париж вовлекал ее в свой давний, неизменный оборот.

ПРОДОЛЖЕНИЕ В ПАРИЖЕ

Подъемник плавно возносил Глеба, слегка гудя. Глебу нравилось это нематериальное восхождение. Нравился, впрочем, весь тихий июльский день в опустевшем в Париже. Так легко, много сил, всё куда-то идти, думать, делать... (делать — значило для него писать).

Отворила французская горничная. Редактор был свой человек, русский, жил в Пасси, в хорошей квартире.

— Мсье просил подождать, он сейчас вернется.

Черненькая девушка провела его в кабинет и ушла.

«Подождать, так и подождать, ничего не имею».

Мягкий ковер, книги, тишина, отличное кресло — Глеб сел в него, глубоко погрузившись. В открытую на балкон дверь свет. Бездна неба, дальняя сиреневая тучка, сетка мелкого дождя, а правей сноп солнца вырвался, играет по земле. Налево Эйфелева башня. Внизу Сена, к ней сходят сады, а дальше — по коричневато-серой пелене домов бродят тени тучек, или солнце выхватило теплым своим объятием церковь, сад, крышу.

Сиамский кот, любимец хозяина, неслышно выплыл откуда-то, сел на книжную полку, уставился на Глеба зеленовато-радужным, стеклянным взором — драгоценный мех его тоже отливал светлыми, голубовато-рыжеющими тонами в искрах. Он сидел неподвижно, магически завораживая взглядом. Что-то электрическое исходило от этого великолепного кота с бессмысленными глазами.

Глеб встал, подошел к двери, вышел на балкон. Кот перевел на него стеклянный взор. Глеб вздохнул. Он не был даже недоволен тем, что приходилось ждать. Облокотившись на перила, в некоем колдовском наваждении смотрел вниз.

Пасси! Много лет назад, юношей был он здесь с Элли впервые — там позади жил русский поэт, тоже в шестом этаже, но тогда подъемников почти не было, как и автомобилей. Налево особняк Метерлинка. Жизнь казалась необозримой. В ней прочное, всегда существующее и неизменное — Россия, Москва, Прошино, куда после скитаний заграничных и возвращаются. Это само собой понятно.

Зазвонил телефон. Глеб обернулся. Черненькая француженка держала уже трубку, там что-то слабо рокотало.

— Oui, monsieur.

Она передала приемник Глебу. Знакомый голос, несколько взволнованный, горячо извинялся: совсем не ожидал, задержали по делу, но на столько, что прямо боится, вряд ли ранее часа сможет и выбраться.

Глеб улыбался. Ему было всё равно. Не хотелось вообще никого видеть, ему лучше было в этом пустынном кабинете, с азиатским котом, с безмолвным небом и светом с таинственным былым, вызванным как бы магически.

Некий внутренний ток нес совершенно в другую сторону и сами эти слова приятеля казались совсем ненужными.

— Ради Бога не беспокойтесь. В другой раз увидимся. Это всё пустяки.

И повесив трубку испытывал чувство, что даже жаль, что надо уходить.

Но жизнь продолжалась. Взяв шляпу, должен он был спускаться вниз, держать путь в Отёй.

Неторопливо проходил Глеб по склону улицы Ре-

нуар, а потом знакомыми местами мимо новой церкви, мимо богаделен в парке — остатке лесов, где некогда охотились французские короли. Автомобилей было мало. По тротуарам сыро, но вообще тепло, набежит тучка, потом солнце, лицо неба смиренно, мало даже подходяще для Парижа.

По улице Буало он подходил уже к своему дому. В домике напротив старые каштаны начинали чуть буреть, коричневые листья кое-где виднелись сквозь решетку на земле — их опалило зноем. И сейчас всё это было в странном молчании, тоже как бы в тихом обворожении. На углу Глеб поднял голову и взглянул на свой дом, наверх, к четвертому этажу. Из окна выглядывала Таня, ее продолговатое личико показалось ему грустным. Она робко ему махнула, улыбнулась. Он вдруг почувствовал в ногах холод, медленно стал подыматься по винтообразной лестнице. Когда дошел до своей площадки, дверь в квартиру оказалась приотворенной. Таня стояла в прихожей. Лицо ее было как будто такое же, но и совсем другое чем всегда.

— Из Москвы телеграмма...

В окне виднелись каштаны, теперь верхи их на высоте взора, могуче-зеленые, с коричневыми подпалинами — и они странно плывут в небе. Таня хотела сказать что-то, но лицо ее вдруг исказилось, точно судорога прошла по нем. Она прикрыла его рукой.

Глеб взял телеграмму, вошел в свою комнату и бессмысленно сел на диван. В телеграмме было сказано, что мать внезапно скончалась.

**
*

Через несколько времени пришло письмо. «Глеб», — писала Соня: «ты ведь знаешь, как тебя и тетечку я люблю, и как трудно мне писать это письмо. Но, ко-

нечно, пишу — надо. Чувствую твое горе, но ты должен знать, что тетечка и жила у меня и скончалась окруженная любовью и уважением. Да вообще, она такой была человек, которого и нельзя не уважать — так всегда с ней и получалось.

«Ты наверное знаешь из ее писем, что всё последнее время она только и жила отъездом. Трудное дело, но она проявляла упорство удивительное. Глебочка, ты подумай, ей исполнилось восемьдесят лет, но по живости, с какой она всем этим занималась, ей можно было дать чуть не вдвое меньше. Ведь она хлопотала полтора года! За это время менялись правила выезда, ей приходилось доставать кучу бумажек, удостоверений, подавать анкеты, клеить марки... — Разумеется, ей помогали. Не можешь себе представить, как все сочувствовали! Она сама говорила, что тронута участием иногда даже полузнакомых людей, хлопотавших за нее, дававших рекомендации, добивавшихся свиданий. В моей квартире живет одна дама, святой жизни женщина, ученая и церковная, вот и она помогала. В последнюю минуту вспомнила какого-то прежнего своего знакомого-коммуниста, дала письмо к нему, и на шестнадцатый раз тетечке разрешили.

«Мы с ней вместе и ездили, конечно, она очень волновалась. Но ты ее знаешь: волнения своего не выдавала. Только вздыхала иногда. Приехали домой с разрешением в кармане и осталось только уже билет брать, она была бодра, но к вечеру почувствовала усталость — это и раньше случалось с ней — много лежала. Дни эти выдались жаркие, грозы, конечно, для старого сердца неважно. Но на другое утро ей стало уже лучше, днем была довольно бодра, разбирала даже свои вещицы, письма твои перебирала и читала. Так продолжалось дня три — то лучше, то немножко хуже, ты понимаешь, конечно, меня тревожило, как это она поедет такая слабая — хотя до Берлина у нее на-

шелся попутчик, один инженер, Мстислава знакомый по службе — его посылали на приемку заказов, в Германию.

«И вот, утром во вторник, часов в семь, слышу, она у себя в комнате что-то застонала. Я к ней. Вижу, дело не важно. Держится рукой за грудь, шепчет: «Больно». Я сейчас же воды согрела, знаю, что при синкопах помогает, приложила резиновый пузырь, будто лучше стало... Подняла Ксану, жилица уже встала. Прасковью Ивановну за доктором. А тетечке опять хуже. Слабеть стала, холодеть, и вдруг говорит: «Нет, мне уже не уехать. Плохо мне, Соня. Должно быть, конец». Я, понятно, говорю: «Что ты, тетечка, сейчас доктор придет, вспрыскивание сделает и всё будет хорошо»... Она мне сказала тогда: «Я хочу причаститься. Пошли за священником». Евдокия Михайловна сейчас же побежала. А она всё слабеет. Молчит, лежит, я держу руку и чувствую — плохо, пульса почти нет.

«И представь, является Евдокия к своему же священнику, такой о. Виктор, молодой, очень хороший, а он служит в церкви раннюю литургию. И, как полагается у них, во второй части ее священник уже не может прервать, уйти... — пока литургия не кончится. Она возвращается и говорит: подождать надо. Через полчаса придет со св. Дадами. А тетечка очень уж ослабела, сказала: «Не дотяну, Соня. Глеба обними, Елену, Таню». И правда, не дотянула. Глеб, Глеб, она тихо отошла, клянусь тебе нашей детской дружбой, она как бы уснула и не мучилась. Батюшка о. Виктор когда пришел со св. Дарами, она уже упокоилась. Он поклонился ей в ноги, а нам сказал, что по вероваию Церкви, когда отходящий просит причастия и отпущения, а этого нельзя сделать из-за внешних препятствий, то мистически причащает св. Великомученица Варвара. И обрати внимание: ведь сама она как раз носила имя Варвары. Отпевал ее в своей церкви тот же

о. Виктор, мы похоронили ее на Дорогомиловском кладбище, ты знаешь где это, недалеко от нас, за мостом через Москва-реку».

Через несколько дней Таня получила письмо от Ксаны.

«Я тебе не сразу написала, дорогая моя Танечка, о нашем горе, потому что трудно было. И сейчас трудно, всё плачу, а всё-таки написать хочется, потому что ты у меня одна подруга и осталась, новых нет, да и тебя, наверное, никогда не увижу.

«Бабушка скончалась внезапно, и теперь у нас стало так тихо и грустно, не можешь себе представить. Я ее очень любила и привыкла к ней с детства, я от нее только хорошее видела. Слава Богу, у меня есть еще и своя мама, но она тоже стала слабее, и всё жалуется на печень. Танечка, я боюсь остаться совсем одной. Я вообще боюсь. Мне всё кажется, что моя жизнь будет ужасно несчастная. Ну, не хочу тебя расстраивать. Бот еще только сообщу о бабушке: о ее кончине очень скоро узнали в Прошине, и представь, третьего дня заявился к нам сын комиссара, Сенька, он с нами еще в палочку-постучалочку играл, а теперь уже взрослый парень, кажется, комсомолец, и привез от крестьян Прошина бабушке на могилку сноп овса с нашей земли — теперь как раз овес убирают. Подумай, какое внимание! Мы его очень благодарили, Софья Владимировна угостила его чаем, он много рассказывал о деревне. Всё теперь изменилось, всё другое.

«У нас тут живет одна дама, очень скромная и богомольная, хотя и очень образованная. Она сказала мне, что бабушка, незадолго до кончины, когда думала, что уезжает к вам в Париж, говорила с ней обо мне, вроде как бы завещала меня ей. И вот мы вчера с ней снесли этот сноп на могилку бабушки, на Дорогомиловское кладбище. Там хорошо. Много деревьев, зелени, и как будто за городом. Есть еще тут один свя-

щенник, о. Виктор. Он на могилке отслужил панихиду, а мы поставили сноп стоймя в ногах бабушки».

Таня читала это письмо и сама, и вслух отцу, матери. Обнимала и целовала Глеба. Ложась вечером в постель, вдруг вспоминала, как бабушка говорила ей в Прошине «там посмотрим» (значит — нельзя), или на ночь, уложив, приносила карамельку: ну, и вот бабушки этой нет, никогда она ее не увидит. Вновь сжимало горло. И вдали виднелось — так же вот уйдут однажды и отец и мать...

Засыпала с мокрыми глазами. Но ей было всего семнадцать лет. В следующем году кончает лицей, а теперь собирается на юг, к морю, там будет лагерь, молодежь, экскурсии, купанье... Столько дел, столько жизни! Жизнь-то еще начинается, всё впереди, в кипении юной крови, былое и было, и вот оплакивается, но жить не прошлым, а будущим. Утром, вскочив, бежать мимо соседнего домика с каштанами и старичками под ними, по солнечному проулку на улицу Микель Анж, к подруге: та тоже едет на юг, надо советоваться об отъезде, нарядах, хохотать беспричинным девическим смехом, говорящем о молодости и скопившихся силах.

***

Таня в начале сентября и уехала. А в Париже началась теплая и прозрачная осень. После летней пустынности город начинал оживать. Медленно, всё же безостановочно приливала к нему жизнь, больше виднелось детей, чаще на улицах молодые, загорелые лица, обвеянные морем, ветром. А парижское солнце сдержанно, бледновато, изящно, как всё тут. И как всё — далеко.

Церковь, панихиды, сочувствия, письма, всё то

раздирающее, что всегда бывает, было, как и само горе, которое неизбежно. Хочет человек или не хочет, а из горькой чаши вкусит. Через всё пройдет — и пойдет дальше. И увидит, как неудержимо всё течет вокруг, и как сам течет он, изменяясь, не совсем таким входя в следующий месяц, как входил в прошлый.

Безветренный сентябрь стоял в Париже, с голубоватой дымкой над Булонским лесом, первыми бурыми листьями под ногами, дальними свистками поездов. Глеб много бродил один. Подымаясь боковой аллейкой в парке, мимо ипподрома, за живой изгородью из кустарников, выходил несколько выше к двухсотлетнему кедру, простиравшему вширь темные, зонтикообразные лапы. Суровое и вековое, суховатое и чужеземное было в этом дереве из Ливана, наперекор годам всё утверждавшим бытие свое. Но за ним начиналась небольшая полянка и газон, там стояла скамья, там уединение и свежая зелень и уступы оранжерейных садов вниз, и дальний вид за Париж на туманно-синеющие холмы. Здесь можно было подолгу сидеть, смотреть и дышать, и если слеза набежит, отереть ее неторопясь.

Этот вид успокаивал, погружал в прозрачную ясность.

Да, слилась его жизнь с Парижем и отлилась от России. Помнил он первое время — Германия, итальянское побережье... — но только тут, в этом Париже, едва въехав в него ранним декабрьским утром из Италии, ощутил прочно: вот теперь начинается.

Начинается то, о чем вовсе не думали, уезжая из Москвы. Началась просто другая жизнь, эмигрантская. Это изгнание. Никаких Прошиных нет, нет Москвы, нет былого, всё это осталось там, и живет лишь в душе.

И мать прочно жила в ней, прочнее, конечно, всех. Жила в письмах, желаниях. Она должна была

быть здесь, он так много думал об этом и так мечтал, и так сочинял планы-фантазии, с возможностью принять ее, устроить в довольстве и благополучии. Пусть знал, что всё это вымыслы, но они становились и частью жизни. Теперь это кончилось. Всё ясно и очень просто закончилось.

Вокруг зеленел газон, впереди голубые елки питомника, дальше холмы, сзади простирал ветви, как раздвинутые руки, кедр. Проходя назад мимо него, Глеб как бы ощущал объятие. «Был, есмь и буду». Вечность воздымалась в этой ясности, в ней ушедшее было и недосягаемо и близко.

ГЕННАДИЙ АНДРЕИЧ

На похоронах матери Анна присутствовала. Высокая, несколько постаревшая и как бы надломленная, но всё с теми же луниевскими глазами, некоторой суровостью и резкостью движений, она на кладбище господствовала. В своей накидке, старомодной шляпке нервно ежилась, смахивая иногда слезу.

Бросив горсть земли в неглубокую могилу, обняла Ксану довольно повелительно.

— Не плачь, всё пройдет. Тебе учиться, жить надо, а не разливаться...

И поцеловала в лоб властно. Ксана испугалась. Хоть и знала «тетю Аню», но вообще несколько боялась ее, а теперь вдруг почувствовала себя виновной. Но рядом была Собачка, Евдокия Михайловна, Мстислав Казимирович, все тоже взволнованные и печальные — и вообще это теперь хоть и новый для Ксаны, но отчасти уж свой, верный и прочный мир. И смущение ее было минутным. Анна же обратилась к Собачке.

— Не увидела Варвара Степановна своего Глеба. Ну, что же — значит, так надо было.

Глаза ее блистали. В них было нечто и восторженное и решительное.

— Священник у вас хороший, — сказала она Евдокии Михайловне. — Вашего прихода? Я о нем слышала.

О. Виктор заправлял под скуфейку недлинные волосы, укладывая в портфель кадило.

Евдокия Михайловна вздохнула.

— Да, хороший. Устает он очень.

На кладбище было пустынно. Августовский ветер, теплый, сухой, налетал шурша травками пожелтевшими. Но покой березок, лип был нерушим. Курлыканье горлинки в огромной иве лишь усиливало его.

— Душечка, Анна Геннадиевна, — говорила у входа Собачка, слегка запыхавшаяся и раскрасневшаяся: — заходите к нам, помянем бабушку чайком, мне недавно меду достали...

— Спасибо, не могу мой друг, у меня Женя родит, муж утром в лечебницу отвез, может быть уже внук или внучка появились, я спешу, да и сердце непокойно, знаете, всегда при этом... Так вот и выходит: умираем, рождаемся, без конца, всё без конца. Сейчас тороплюсь, в другой раз с удовольствием. А пока — прощайте.

Анна действительно спешила. Обгоняя медленно возвращавшихся с кладбища, за Москва-рекой вскочила на трамвай, и по Арбату покатила к своей Жене, на другой конец Москвы: надо было попасть во время к новому внуку, новому пестованию и заботам, трудам, волнениям. Ко всему, что и составляло ее жизнь. «Пока держусь», говорил вид ее, «так вот и буду носиться с Дорогомилова на Зацепу, а оттуда на Земляной вал, так вот и буду встречать, провожать, кормить, няньчить, стеречь... А свалюсь — дело другое».

И она увидела в этот день на Зацепе нового насельника, обнимала Женю, а уже к вечеру, полуголодная, но возбужденная, летела на Земляной вал с новостями.

Там еще ничего не знали, всё шло по-обычному. Агнесса Ивановна, в светлом капоте, мелких, легких кудряшках на голове, сидела в столовой, смотрела как Маркан раскладывает гаданье. Когда Анна сказала о матери, эмалево-небесные глаза ее стали вдруг влажны.

Она тряхнула слегка головой — завитки волос вздрогнули.

— Глебочка будет теперь в Париже плакать...

Маркан оторвалась от гаданья, сумрачно посмотрела на Агнессу Ивановну.

— И хорошо сделала, что упокоилась. Подумаешь, какая радость околачиваться тут...

— А у Женички, ты говоришь, чудный сынок? — перебила Агнесса Ивановна, обращаясь к Анне. — Очень мил? Херувимчик? Ты подумай, Маркан, — настоящий херувимчик!

Лицо ее приняло привычное, восторженно-сентиментальное выражение, но у нее было столько внуков, внучек, а теперь вот новый и правнук, что вся нежность, умиление ее натуры изливались как бы на всех сразу. На каждом же в отдельности — когда они рождались, болели, иногда умирали, — она сосредотачиваться не могла.

Маркан закурила папироску и встала. Лицо ее выражало явное неодобрение. И к чему это разводить новую жизнь? Со старой не разделаешься.

Вошел Геннадий Андреич. Он был несколько задумчив, хмур. Всё-таки сказал:

— Анна, рад тебя видеть...

— Я сегодня, папа, и с похорон, и с рождения, — говорила Анна, всё еще блестя глазами, несмотря на морщинки, утомление. — Такой выдался денек.

Геннадий Андреич сел.

— Не удивительно-с... Так всегда и бывает.

Узнав о кончине матери перекрестился, ровным тоном сказал:

— Царство Небесное. А каков ее возраст?

— Восемьдесят.

— На два года меня старше. Ничего, всё к тому клонится. Ничего, всё хорошо-с..

— Папочка, а твоего правнука мы с Женей думаем назвать Геннадием, в твою честь.

— И напрасно-с. Имя тяжеловесное. Одно дело — пятнадцатый век и архиепископ Геннадий, другое — двадцатый и современная жизнь. Нет, назовите попроще, например, Алексеем. Прекрасное имя. Можно именины на Алексея Митрополита, как ты знаешь заступника и поборника Москвы, или же на Алексея Божьего человека, это, пожалуй, еще лучше, облик смирения и кротости.

Анна усмехнулась.

— Я сама очень люблю имя Алексей, и если уж называть, то конечно Алексей человек Божий. Ах, папа, кротость, смирение... в наше время!

Геннадий Андреич оживился.

— Всё прямо противоположное-с. И вот поэтому-то и хорошо так назвать. Столько же противоположно, как Нагорная проповедь противоположна злу, но само имя это и несет в себе всегдашнюю и величайшую истину-с, которой не одолеть никаким силам адовым...

— Папа, да ты прямо превосходен!

Анна обняла его и поцеловала. Он слегка будто смутился.

— Ничего не превосходен-с. А всё это правда.

Анна вдруг припала к нему. Ее мокрые глаза блестели.

Позже, уходя к себе в кабинетик, Геннадий Андреич более спокойно, улыбнувшись, сказал:

— Этот раб Божий, ныне появившийся на свет, который же по счету мой потомок? Кажется, пятнадцатый?

И чтобы не ошибиться, стали они втроем перебирать и пересчитывать детей, внуков, правнуков. Чуть было не пропустив Таню в Париже, насчитали действи-

тельно пятнадцать. Маркан смотрела с неодобрением. Порождать, по ее мнению, вовсе не следовало. Но ее никто и не спрашивал.

***

Давно, еще до войны, случилось однажды Геннадию Андреичу приобрести для музея скифский сосуд с удивительными изображениям зверей — сам Чижов был в восторге, а уж он в этом деле понимал. Геннадий Андреич только и жил тогда чашей этой. Он ее любил. Если бы был ребенком, клал бы себе на ночь под подушку.

Эта любовь длилась довольно долго. Но время шло, восхищение поостыло, даже стало сменяться другим. Однажды, проснувшись утром, он с каким-то странным чувством вспомнил мещанку, принесшую ему в Музей чашу, вспомнил этого кабана с клыками...

Раньше обычного покатил на Красную площадь. Чаша была как чаша, кабан как кабан, но вдруг ощутил он, взглянув, что в сердце точно бы скрипнуло. Стал рассматривать вновь, так и этак, взял лупу. Будто и ничего, но вот трещинка в сердце осталась. Стали чаще являться мрачные мысли. И он обратился в Петербург, к известному старику-археологу, с которым не раз спорил. Знал, что это соперник и скорей недруг. Но знаток превосходный.

Старика удивило это обращение. Приехав в Москву на съезд, он с великим вниманием рассмотрел чашу, с Геннадием Андреичем был чрезвычайно любезен, почтителен и приветлив, а затем сказал так:

— Чудная чаша. Я подобной работы в жизни не видел. Скажу даже, что слишком чудная. Боюсь только, дорогой Геннадий Андреич, что она много моложе

нас с вами. Изготовлена по лучшим образцам, но техника слишком совершенна. Скифам далеко до этих голубчиков, а они на этот раз переиграли. Рад буду, ежели ошибусь.

Но не ошибся — да Геннадий Андреич и сам смутно чувствовал то же самое: чаша слишком совершенна!

Мещанку вскоре арестовали. Целая шайка в Одессе художественно изготовляла древности, сбывала куда придется. Оставалось утешаться знаменитым Рейнаком, в Одессе же купившим тиару Сайтаферна — того же производства. Чаша погибла. Геннадий Андреич, не сморгнув, вернул Музею пять тысяч рублей.

Конечно, о беде своей помалкивал. Даже дома долго не знали. Угрызался и страдал один — в семье был мрачнее обычного.

Теперь всё это являлось историей, частью того эона жизни — в своем роде первобытного — когда случалась полемика, собирались съезды, съезжались ядовитые старики, устраивались обеды, приемы, велась переписка с иностранными учеными. Вместо этого оказался Баланда.

Но вот именно дни, когда хоронили на Дорогомилове мать, как и позже сентябрь, который проводил Глеб в одиноком бродяжничестве по Парижу — это-то и оказалось для Геннадия Андреича временем куда трудней истории со скифской чашей.

В Музее, в отделе свезенного в революцию, открылись хищения — пропали какие-то ящики, в которых не совсем ясно, что и находилось. Они просто уплыли, в неизвестном направлении. Началось следствие. Ясно, что ни Геннадий Андреич, ни старый князь не увозили же на грузовиках этих ящиков. Но они высшее начальство и они ответственны.

Князь был еще старше Геннадия Андреича, и другого характера — сразу пал духом и решил, что всё кончено.

— Мы с вами, государь мой, разумеется непричем. Кто это может усмотреть за каждым ящиком в подвале? Но мы начальство и прежний мир, нам не спустят. Подождите, пришьют нам, что мы этими вещицами расторговались.

— Посмотрим-с, — ответил Геннадий Андреич. — Увидим в ходе дела. Во всяком же случае уступать не намерен я ни малейше. Ни крошечки-с, — сумрачно добавил он. — А там, что Бог пошлет. Дней же наших, ваше сиятельство, осталось вообще немного.

Говорил он одно, думал же совершенно другое, гораздо более мрачное. Но о чем думал, никому не говорил. Во всяком случае сопротивляться решил до конца.

Баланда был в ярости. Товарищ Колесников, которого он считал героем труда! Чуть ли к ордену не готовил — и вдруг прозевал воров!

В первый же раз, когда коршуном налетел он на него с упреками, Геннадий Андреич, побелев сколько мог, с жестким спокойствием заявил:

— Не я нанимал ваших молодцов-с, не мне за них и отвечать. Я ученый сотрудник, старший археолог Музея, но что ночью взломали замки и на грузовике вывезли, это меня не касается. На это есть полиция.

— Во-первых, полиции теперь нет, а есть угрозыск и вы, товарищ, со всем этим старым арсеналом на суде вообще будьте осторожнее.

— Я на суде скажу то, что есть, что знаю. Ни больше, и ни меньше-с. Пусть воров и судят. Я же не имею к тому отношения.

— Да мне чорт ли в том, что вы ученый археолог, важно, что пропало государственное имущество и вы будете отвечать.

Но Геннадий Андреич смотрел на него таким без-

различно-ледяным взором, так был сух, краток и как будто из другого мира, что попылав, Баланда приутих.

— Я ведь вас и не обвиняю в том, что вы им помогали... Да, но они всё-таки у нас с вами из-под носа сперли...

Этим Баланда отчасти и выдавал себя. Раз он комиссар Музея, то куда ж сам-то глядел?

Следствие началось. Были подозрения, кое-кого из низших служащих арестовали, Геннадия Андреича допрашивали. Он тоже ждал ареста. Но его не тронули, хотя к суду, как и князя, привлекли.

В точности Агнесса Ивановна ничего не знала, как и тогда в истории с чашей. Но чувствовала, что что-то происходит, «Генечке тяжело», «у него неприятности в Музее». Расспрашивать же не решалась, страх перед Геннадием Андреичем сидел в ней с юных лет. И сквозь синеву глаз ее чаще влажнела слеза: видела, что он худеет и желтеет.

Анна сказала ей наконец:

— В Музее украли ящики. Кажется, суд будет.

Агнесса Ивановна сразу поняла, заплакала:

— Геничку судить? За что?

— Ах, мама, я не знаю. Ну, конечно, не его, а тех кто взял. А он будет давать показания.

— А если заодно и Геню?

— Мамочка, успокойся, он тут не причем.

Анна сама не знала и сама волновалась. Очень мать любила, но склонна была по-отцовски переносить горе. Слез и сентиментальностей не выносила.

Маркан мрачно тасовала карты.

— Теперь уж засудят. Там не станут разбирать. Всё на Геннадия Андреича и свалят.

Анна вспыхнула:

— Перестань, Маркан, вечно каркаешь. Никто ни-

чего не знает. Только маму расстраиваешь. Бог даст, всё обойдется. Свидетели все за папу, я же знаю. (Она ничего не знала, но сказала так для матери).

— Обойдется... Всё к худу. Как я говорю, так и сбывается. Был царь, говорили — нехорошо. Теперь Ленина дождались. Была полиция, теперь милиция. Что ж, это лучше?

— Папа ни в чем не виноват, — твердила Анна, в нервности, — его обвинить никто не может.

Говорила она смело, как бы сама себя опьяняя, а в глубине мало верила: мало ли что невиновен — он начальство. Кому, собственно, и отвечать, как не начальству?

И к обычным ее делам и заботам прибавилось новое: тревога за отца.

Сама она жила сейчас в маленькой комнатушке под небесами, заставленной мебелью — остатками прежней ее обстановки. На стене висел тот же репинский Толстой и беклиновский «Остров мертвых» и остроугольное личико Элли, еще молоденькой барышней, в летящих мелкими кудряшками, нежных волосах. Жилище Анны походило и на келию и на какой то склад, на крошечный музей уходящего (по временам она продавала кое-что или выменивала на продовольствие). А кругом, в коридоре, как и на Земляном валу у родителей, гудело и рокотало новое племя, среди которого чувствовала она свое одиночество.

Но некогда было особенно его переживать: ежедневно неслась она с пятого этажа вниз по разным трудам — ныне к дочери Жене и новому колесниковскому отпрыску. Новорожденный приобрел от отца фамилию не родовитую: Сковородкин, или, как называла его Собачка, «де Сковородкин».

Женин муж был пролетарий, но хорошо устроенный. Его явившийся в мир сын (полупролетарий, нося-

щий священное имя Алексей) мигал смутными глазками, сосал мать усердно и никак не понимал бабушку Анну, с горячностью объяснявшую матери его, что прадедушку обвинить никак нельзя и она уверена, что его оправдают. Женя, молодая женщина, с отголосками колесниковской крови, но погрубее и проще, слушала более спокойно, продолжая кормить насельника.

— Ты ужасно горячишься, мать, и нервничаешь, всё равно ничем не поможешь, только себя изведешь. Если дедушка не виноват, его не тронут. А если найдут виновным, тогда дело другое. Ведь подумай, он всё же ответствен за государственное имущество.

Тут Анна старалась отвлечься, чтобы не вспылить — у нее с дочерью вообще были неровные отношения: не на всё в окружающем смотрели они одинаково, и в этом была тайная боль Анны.

— Вы, прежнее поколение, были слишком нервны, чувствительны. Вырастали в теплицах. Занимались поэзией, музыкой, а жизнь меньше знали — Женя улыбалась, кормя младенца.

— Мама, ты вообще больше femme-poète как говорил Юра, сбежавший из Союза. — И ты, и тетя Лена. А я — товарищ Сковородникова.

— Ах, глупости, глупости! Чем это хуже Колесниковых?

— Тем, что нет дома на Земляном валу.

Постояв за примусом, сходив за пшенкой, Анна направлялась дальше, то ли к Катеньке, занимавшейся гребным спортом, то ли к племяннику Петру, где, кроме авиации, были тоже дети, и всюду несла с собой тяжелую тоску, думу о судьбе отца и ощущение своего одиночества. «Мои дети, и люблю их, а что-то есть и другое. Они растут в этом, уже другом воздухе. Сына назовут Алексеем, но чувствуют это совсем не так, как мы с папой».

И получалось, что свободнее, легче ей было в доме Собачки, с самой Собачкой, Ксаной, Евдокией Михайловной. Там случившееся с Геннадием Андреичем принималось совсем по другому. Ее нервности никто не удивлялся.

***

В день суда Анна пошла к ранней литургии в церковь о. Виктора. Было еще почти темно. На клиросе Евдокия Михайловна читала часы. В алтаре о. Виктор совершал проскомидию (шепча над вынутыми частицами, таинственно сводя на эту землю высший мир, и отсюда, вынимая за безвестных отошедших, возводя лестницу в горнее).

Голос Евдокии Михайловны струился ровно, бесстрашной и непрерывной речкой, легкой, чистой. О. Виктор негромко подавал возгласы. А когда отдернул, наконец, завесу Царских врат, торжественно прозвучало:

— Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа...

Литургия началась. Хора не было. В церкви почти никого, Евдокия Михайловна одна пела и читала. Анна одна молилась, но у ней было ощущение, что так и надо, она именно там, где надо быть в этот день. Она почти не ощущала веса. Всё вокруг было легко. Как литургия шла одновременно и сейчас, и в веках прошлых и будущих, так она сама, Анна, находилась и здесь в церкви, и на Земляном валу, где сейчас встает отец, чтобы идти на суд и поношение, и уже на самом суде, где враждебные люди допытываются и разбирают, и решают его участь.

Это сопровождало ее не только на литургии, не только когда причастилась она и хладеющими устами прикоснулась потом к св. Чаше, но и позже, во весь день, прошедший для нее как в сновидении.

Она была у Жени, помогала ей, потом с детьми Петра ходила по Никитскому бульвару, говорила, унимала, веселила — и всё время отсутствовала. Где именно была, не могла бы сказать. Но ощущение остроты, напряженности почти сверхестественной, не оставляло. Она чувствовала всё время, что куда-то должна идти и все эти мелкие жизненные дела — дети, примусы, очереди в лавках и кормежки — всё нужное, необходимое, но это только так, главное впереди. И около пяти часов, всё в состоянии того же полета, с каким начала день в церкви, устремилась на Земляной вал. Трамвай вез ее не так мало, но ей казалось, что всё очень быстро, плавно и легко. Всё делалось само собой и так, как надо.

С детства знакомая калитка во дворе, рядом ступени лестницы парадного входа, но туда теперь не ходят, надо в калитку.

В подвальном этаже был полумрак, из прежней детской раздавались голоса жильцов, в кухне горела плита — Анна, не переводя духу, поднялась наверх. В столовой никого. Дверь в кабинет приотворена. Анна обернулась. В дверях своей комнаты стояла Агнесса Ивановна. Голова ее слегка вздрагивала.

— Аничка, вернулся. Сейчас у себя, лежит... устал очень. Оправдали...

Анна бросилась к двери в кабинет. Геннадий Андреич действительно лежал на постели, укрывшись пальто. Был очень бледен.

Анна припала к нему, обняла и поцеловала.

— Знала, что не посмеют... знала, знала. Уверена была. — Она задыхалась.

В дверях, не без робости, появилась Агнесса Ивановна.

— Геня, мы не помешаем? Ты устал, Геня?

Геннадий Андреич улыбнулся.

— Нет, ничего. Устал, но рад, что вы обе со мной. Хорошо, что я дома. И что вы...

— Папа, но как... всё-таки, как было?

Геннадий Андреич приподнялся, поправил шапочку на голове, передвинул подушки — Анна подбросила ему еще и с дивана.

— А так вот и было-с. Правду говоря, я считал, что нам с князем конец. Виноваты мы не были, но надо же с кем-нибудь расправиться, а уж чего легче с нами.

Агнесса Ивановна, в своем старом капоте, заполняя всё кресло, слегка вздрагивая, не отрывала от него взора.

— Геня, они чувствовали... судьи... начальники, что вы с князем честные.

Геннадий Андреич опять улыбнулся.

— Вряд ли поэтому, душенька. Правда, свидетели все были за нас и мы сами довольно ясно всё рассказали. Но я считаю, что спасло другое-с: у них там свои разделения, своя грызня. У Баланды, видимо, оказались враги. Они на него и накинулись, он главный ответчик получился. Он хотел отстраниться и свалить на нас, но они как раз на нем и сосредоточились: всё в каких-то уклонах обвиняли. А мы оказались в стороне. Воров-то всё-таки нашли и засадили. Баланду же сместили вовсе.

— За мелкобуржуазную психологию-с!

Геннадий Андреич засмеялся.

**
*

Весть о его оправдании распространилась быстро. Приехала дочь Лина, расплывшая, радостная, в слезах целовала отца. Принимал он и других, и скромно благодарил, но был очень слаб. Появились даже головокружения. В Музей он ходить не мог и всё лежал. Слабость не уменьшалась.

Кроме ближайших родных проходили перед ним остатки прошлого, кое-кто из сослуживцев, знакомых. Появился любитель Данте — Карлуша, как и прежде дававший уроки музыки, теперь совсем тощий и грустный. Старенькая Занетти улыбнулась приветливой итальянской улыбкой.

— Спасибо, спасибо, — сказал Геннадий Андреич негромко. — В Коппелии никогда вас не забуду-с. Помирать буду, вспомню...

Появлялось и новое — внук Петр в авиационной форме, его дочь, девочка лет восьми. Пришла даже та Дарья Григорьевна, сына которой он защищал от сапожника.

Пускали к нему, однако, не надолго: ослабело сердце, предписан был полный покой.

Он, впрочем, по другому и сам жить бы теперь не мог. Головокружения понемногу прошли, но не прошло то странное состояние, в которое впал он после суда. Это была и смертельная усталость, и спокойствие, и какая-то отрешенность. Был ли он болен? Не мог бы сказать ни да, ни нет, но стал другой, и ему иногда казалось, что он видит себя со стороны: вот лежит в кабинете, в черной шелковой шапочке, при-

крывающей лысину, Геннадий Андреич Колесников, нумизмат и отец русской сфрагистики, старший хранитель Исторического Музея, всю жизнь проработавший в своей науке, чуть было не осужденный, но всё же оправданный. Ни на что, в сущности, он не может сейчас пожаловаться, по теперешним временам участь его еще очень благополучна.

Но это не тот Геннадий Андреич, который с самого дня рождения своего жил в этом доме, тут и женился, тут родились, выросли дети — отсюда пошли внуки и правнуки. Тут живя он работал в Музее, писал статьи, спорил, радовался, огорчался. Это всё верно. Это было. Он и теперь есть, существует. Вот он лежит на своей постели, читает кое-что по истории. На столике в изголовье маленькое Евангелие, довольно потертое. Страницы кое-где закапаны воском. Это Евангелие еще покойной матери. Раньше он мало им занимался.

Всё это идет и движется, всё по заряду прошлого. Нового для него нет. Нет и желания нового.

Он не знал, да и не очень интересовался тем, что именно у него за болезнь. Но появилось спокойное, безграничное чувство, что больше сил нет. Были, да ушли. Дни шли за днями, он не вставал.

— Ну, как? — спросил раз Карлуша, зашедший навестить. — Как чувствуешь себя, Геннадий?

Он негромко ответил:

— Никак.

— Ну-у, ты уж и скажешь...

Но Геннадий Андреич именно больше и не сказал, и закрыл глаза.

Несколько минут посидев, Карлуша поднялся. Выходя, взглянув на книги в шкафу, вдруг вспомнил: у Геннадия есть редкий, старый немецкий перевод «Божественной Комедии» с комментариями. Пропадет всё

это, пропадет. Никто ничего не понимает. Растащут. И на цыгарки труждающиеся раздерут. Агнессе сказать — но, он махнул рукой. Агнесса такой же ребенок, как была шестьдесят лет назад, в родительском доме. И вспомнив сестру девочкой, на даче, еще в Сокольниках, на шестой просеке, Карлуша улыбнулся с грустью.

Агнесса Ивановна как раньше боялась мужа, так и теперь. Но ходила за ним верно. И всё опасалась: вдруг не так что-нибудь сделает? Иногда он бывал к ней теперь милостив, иногда, — особенно когда начинались боли, не пускал к себе вовсе. «После, потом»... и движением руки останавливал на пороге.

Боли являлись и проходили, он не спал иногда по ночам, но как раз тут-то и запирал дверь на ключ. А потом боли стали реже, прошли почти вовсе. Зато слабость росла. Есть не хотелось — он почти ничего и не ел, худел неудержимо.

Однажды — был мартовский московский закат — отблеск фантасмагории неба лежал на старом зеленоватом диванчике, на книгах, на шифоньерке, где хранились за стеклом слепки монет. Геннадий Андреич чувствовал себя особенно тихо и мирно. Он недвижно лежал на своей кровати, на спине. Смотрел, как медленно переползает розовеющее закатное пятно по стене к двери — над ней на полочке стояла маска Петра.

Вошла Агнесса Ивановна. В руке у ней был подносик — на нем стакан в старинной серебряной оправе с ручкой. В чае плавал ломтик лимона.

Она поставила поднос на столик рядом, села на постель. Губы ее вздрагивали.

— Геня, — сказала она вдруг, не своим обычным как будто голосом, — Геня что же ты всё молчишь? Что с тобой, Геня?

Мелкие кудерьки ее трепетали. Эмаль глаз влажнела в закатном свете. На этот раз что-то прорвалось

в этой полной и нежной женщине, затопило даже многолетнюю робость.

— Геня, мы же прожили вместе жизнь... ведь я с тобой с семнадцати лет. И вот... и вот, когда тебе сейчас плохо, ты от меня уходишь. Ты прячешься... ты молчишь, Геня, когда страдаешь, ты не хочешь, чтобы я была с тобой. Ты мне ничего о себе не говоришь... Геня, за что?

Она вдруг припала тучным своим телом к его коленам — таким исхудалым и острым сквозь одеяло — и заплакала.

Геннадий Андреич молчал. Так продолжалось некоторое время. Потом он положил ей руку на голову, в эту путаницу легких, пухово-теплых волос, и стал гладить. Продолжая всё плакать, она взяла руку эту и поцеловала.

— Не целуй, — сказал он тихо. — Я этого не заслужил. Я тяжелый, трудный человек. Колесниковская кровь.

Она опять сильней стала всхлипывать.

— Агнесса, я перед тобой виноват. Наверно, за всю жизнь несу вину. Ты дитя, ты ребенок, хотя и старая сейчас. Ты всю жизнь отдала мне, а я... что я дал? А теперь уже поздно. Агнесса, мне теперь мало жить...

— Нет, нет, Геня...

Но он продолжал покойно, с той нерушимой уверенностью, от которой холодело ее сердце.

— Я жил только для себя, только собой, своими книгами, занятиями. Я всех вас недостаточно любил — тебя первую, но и детей. Вот я теперь это чувствую, и не только сейчас, но и всё последнее время, а теперь особенно. Только теперь поздно. Мне и осталось только просить милости у Господа, и у тебя прощения.

Она поднялась и села. Всё ее полное лицо в обрамлении легких, сейчас спутанных волос, было залито слезами.

— Тебе не за что просить у меня прощения, Геня. Не уходи только! Не умирай! Нет, никак не умирай, — бормотала она, как в полусне. — Ты болен, но это ничего не значит. Ведь ты когда молоденький был, у тебя же туберкулез появился и вот ничего, выжил.

Она вдруг оживилась, точно волна света всколыхнула ее.

— Геня, помнишь Оспедалетти? В Италии, на Ривьере? Там еще пальмы такие удивительные... и мы как хорошо там жили... целую зиму.... Ты меня любил тогда, и ты выздоравливал. Я была счастлива, что ты выздоровел. А ехала туда, ужасно боялась... Какое море! Геня, я этих вечеров прозрачных, под пальмами, на закатном солнышке никогда... никогда...

Она опять не могла уже дальше говорить.

— Да, — сказал Геннадий Андреич: Оспедалетти помню. Даже пальмы помню. А это было давно. В 1878 году. И я действительно ведь выжил.

Эту ночь спал Геннадий Андреич особенно мирно. Ангел охранял его. Перед зарею, проснувшись, он опять вспомнил Оспедалетти, такое же сияющее в красоте Лигурии, как сияла тогда юною прелестью семнадцатилетняя Агнесса, дитя Москвы и Италии, ныне эта полная, робкая женщина, так и оставшаяся простодушным ребенком. «Я, конечно, виноват перед ней неизбывно, но она простила, и Господь, может быть, тоже простит меня».

***

Маска Петра, некогда воздвигавшаяся на книжном шкафу в зеленой гостиной и пугавшая Элли выпученными, страшными глазами, со времен уплотнения переехала в кабинет. Тут она помещалась над входной

дверью, не над таким великолепным шкафом с редкими изданиями (книги в дорогих переплетах задернуты были шелковой занавеской) — а просто на полочке. Но главенствовала всё же над небольшой комнатой: всякий, находящийся в ней, как бы приглашался почтить Императора, давнюю любовь и преклонение Геннадия Андреича.

Теперь, во время болезни, он постоянно видел эту маску, кровать так стояла, что лицом он всегда был обращен к двери. Было правильно, что из гостиной ее взяли, там теперь целое семейство кондуктора, для чего им она? Но к некоторому своему удивлению, стал Геннадий Андреич замечать, что и ему она будто не нужна, хотя по тому, как она начинала смутно белеть в конце ночи, можно было узнать, что рассвет близок. И вообще... это же неплохая вещь. Вот взял же он ее в ученую келию!

Вечер в начале мая выдался тихий. Весна была ранняя, сирень уже цвела, целый букет ее стоял недалеко в глиняном кувшине — эту сирень торжественно преподнес «дяденьке» Сенька, сын Дарьи Григорьевны. Со двора, из полуоткрытого окна слышно было, как резво, мягко и небесно-пронзительно щебечут стрижи, ласточки. Солнце выбрало на закате путь в щелке и залило маску розовеющим золотом. Мертвые щеки и выпученные глаза странно засветились, точно бы они и приблизились. Совершенно для себя неожиданно Геннадий Андреич испытал неприятное чувство и отвел взор.

В дверь постучали. Вошла Анна. Он оживился.

— Вот и хорошо. Рад видеть, рад.

Анна поцеловала ему руку.

— Ну, как, папа?

— А ничего, ничего-с, всё хорошо. Ты мне руку не целуй. Я не архиерей. А ты вот что целуй — всегда целуй и всегда люби.

И поправив на голове шапочку-ермолку, с тем знакомым ей, серьезным, очень живым видом, как рассматривал медали, взял с ночного столика книжку, довольно потертую, с красной вышитой закладкой.

— Это Евангелие-с... И вот тут заложено, 6-я глава от Луки. Нагорная проповедь. Тут всё. Вот и читай. И люби. И детям внуши, передай им, чтобы читали и почитали... Это всё-с. Больше ничего нет, в этой книжечке всё-с. Жизнь будет идти, миры рушиться, новые создаваться, и мы ничего не будем понимать, но будем жить и любить, и страдать, и умирать, и друг друга мучить и потом угрызаться. — А это вот будет себе существовать и вечно будет светить. Это ты помни, Анна.

— Папа, папа...

Она гладила ему руку, огромными, сияющими глазами глядела на него. Вот это он, тот отец, которого в детстве она боялась, который был некогда так далек, даже жуток строгостью своею и суровостью — вот он лежит перед ней и худенькой предсмертной рукой потрясает в воздухе Вечной книгой.

Несколько успокоившись, он сказал ей тихо, спокойно и просто:

— Давно хотел поговорить с тобой, душа моя. Именно с тобой. Мама слабее, она будет плакать. И вообще всё напутает. А ты более крепкой закваски. Моей породы. Я в тебе очень себя чувствую, только ты тоньше-с, мы были грубее. Так вот в чем дело...

И в комнате, где майский свет понемногу гас и маска Петра отходила в тень, Геннадий Андреич дал Анне последние распоряжения насчет своей смерти. Некоторые книги ей, Пушкина, например. Специальное и научное — в Музей. Маму беречь как дитя, любить и холить. Его непременно отпеть дома по-церковному — «там они, наверное, в Музее гражданские похороны устроят, с красными флагами, я этому помешать не

могу-с, пусть устраивают, но хочу, чтобы дома меня по-человечески, по-христиански отпели, и когда надо будет, пока я жив, чтобы священник пришел, я исповедую ему свою грешную жизнь и он причастит меня».

Анна смотрела бледная, внимательно слушала. Всё оставалось в ней будто записанное.

— Да, вот, душа моя. Чуть было не забыл. Прошу тебя нынче же снять эту маску Петра и поставить подальше. В столовую, или куда-нибудь в шкаф. Как хочешь, — прибавил он равнодушно. — Куда хочешь. Но чтобы я ее не видел.

— Папа, она же всю жизнь с тобой была. Ты всегда так Петра почитал...

— Совершенно правильно, мой друг. И была, и почитал-с. А теперь вот — пусть уберут.

**
*

Геннадий Андреич просил позвать помощника своего, Игнатия Николаевича, довольно долго наедине с ним беседовал о Музее.

Успел исповедаться и причаститься. Был покоен, ровен, далек. Иногда только улыбался Агнессе Ивановне.

Анна всё запомнила из его распоряжений. Маску Петра на другой же день вынесли. Агнесса Ивановна удивлялась и охала, но Анна строго сказала: «Такова воля папы». Она затихла.

В гробу Геннадий Андреич лежал с неземной важностью, держал в окостенелой руке образок.

Отпевали на дому, а потом в Музее торжественно совершились гражданские похороны. Как и предполагал он, гроб накрыли там красной материей. Но этого

Геннадий Андреич уже не видел. Не видел и множества провожавших его, полубезчувственную Агнессу Ивановну, бледную Анну, под руку ее поддерживавшую с видом строгим, почти суровым, — заплаканную Лину и других, других...

Летописец мог бы помянуть целую нисходящую лестницу потомков, провожавших его прах до кладбища: дочери, внуки и внучки, правнуки и правнучки, с непокрытыми головами шли за гробом нумизмата и отца русской сфрагистики — в числе пятнадцати, находившихся в то время в городе Москве.

ПУТЕШЕСТВИЕ ГЛЕБА

...Элли очень нравилось, как «Ариадна» проходила Кильским каналом. Зелень датских лугов, датские рощи — такие ж могучие, как и небольшие стада на пастбищах — подступали к самому берегу. Почти задевали ветками белую «Ариадну».

— Смотри, Глеб, коровы, как у нас... и пастушонок...

А Балтийское море, развернувшееся за каналом, просто уже омывало берега России. Расстилалось оно в этот июльский день, в утренние его часы с таким зеркальным спокойствием, в такой светлой дымке, слегка только голубеющей, что его можно было счесть мирным озером... «Ариадне» нетрудно было направлять бег к северу. И постукивая машиной, слегка лишь подрагивая, оставляя за кормой лазурно-закипающий в белых звездочках след, корабль безостановочно бежал к острову Борнгольму. Этот Борнгольм появился на вечерней заре, медленно проплыл со своими утесами, зеленью, красными крышами домиков. «Ах, какая прелесть! — говорила Элли, возбужденно. — Я хотела бы поселиться тут!». Глеб, зная ее восторженность и нервность, только улыбался.

А когда Борнгольм ушел, спустились вниз обедать. Глеб чокался с финским капитаном рюмкой датской водки. Русские юноши, ехавшие в Гельсингфорс, весело хохотали. Финская горничная безмолвно подавала, убирала — странная морская жизнь шла как полагается.

Позже других потом Глеб сидел на палубе, в прохладной ночи — это было всегдашнее его занятие: одному глядеть в окно вагона, одному сидеть под туманными звездами, смотреть, как клочья дыма летят из трубы, и красные, зеленые огни указывают нос корабля, идущего уже мимо берегов Швеции — к тому рубежу России, куда приводила судьба. Лето в Финляндии! Два месяца назад показалось бы это фантазией, а теперь просто во вторник должна подойти «Ариадна» к набережным Гельсингфорса.

Ночь на вторник он плохо спал. Слегка покачивало. Подвешенные в сетке мелкие вещицы Элли описывали мягкие, но небольшие дуги. В иллюминаторе уже светлело — Глеб смотрел на качания сетки — приезд этот и всё путешествие возбуждали его. Гельсингфорс, — дальше по железной дороге к границе России, дача Симы, которой он никогда не видал в жизни. Как то всё будет?

Ясно, что уж не заснуть. Чтобы не будить Элли, младенчески спавшей (ей всё нравилось — и «Ариадна» и пассажиры, и каюта, и предстоявшая встреча с дальней родственницей) — Глеб потихоньку оделся, вышел на палубу. Погода менялась. Облачно, хмуро-зеленоватая волна. И какой-то другой воздух.

Он прошел на нос, хотя там сильнее качало. Всё стоял, вглядывался, потом сел, возбуждение не унималось. Иногда брызги обдавали его, вскипая легким туманом, это даже и нравилось — на губах соленая влага. А там, впереди, впереди...

— Ах, ты здесь, ну, слава Богу. Проснулась — тебя нет. Я испугалась. Думаю, а вдруг он вышел и как-нибудь там упал в море? Ну нет, ты здесь. Всё хорошо. Значит, скоро приедем? Это что там виднеется, точно земля, леса какие-то?

Элли хорошо видела вдаль, лучше Глеба. Но и он, всматриваясь, разглядел под мрачными облаками уз-

кую полоску земли, действительно синевшую щетинкой — лес.

— Это Финляндия, — сказал он. — Берега Финляндии. А там, справа, Россия.

Финляндия! Элли охотно приняла, но насчет России стала сначала спорить — ей всегда всё казалось фантастически: указала совсем в другую сторону.

Глеб засмеялся. Она быстро сдалась.

— Ну, мне всё равно. Там так там. Главное, что Россия. Ты подумай: мы будем от России в десяти верстах!

Потом, она вдруг задумалась и сказала:

— Как удивительно! Ведь если бы папа не умер и я бы в газете не напечатала благодарности сочувствующим, то Сима и не узнала бы, где мы, не пригласила бы нас и мы вот не стояли бы здесь на палубе.

Глеб взял ее руку.

— Я думал уже об этом.

Она ответно пожала руку. Глеб вздохнул.

Нос «Ариадны» сильнее клюнул, луч солнца прорвался с неба, блеснул в мутной зелени волн, испещренных кипящими белыми звездочками. Жарче налетели брызги. Элли отерла лицо платочком. Кроме соленых брызг, на платочке остались быть может, и следы слез.

А берега близились. И настала минута, когда оба увидели, легко и отчетливо, одно и то же: на узкой береговой полоске пятно иного цвета, чем леса вокруг. Кое-где возвышались колокольни, а особенно высоко воздымался в одном месте над приземистою башней шпиль, несоразмерно длинный.

— Смотри, смотри, Петербург! — закричала Элли. — Адмиралтейская игла, или, там, шпиль Петропавловской крепости.

— Хоть и не Петербург, а видно, что младший брат.

И через час, в виду крепости Свеаборга, с финской точностью, в назначенный час пришвартовывалась «Ариадна» у набережной Гельсингфорса.

Молчаливый но́сильщик взял вещи Глеба и Элли, услыхав русскую речь, улыбнулся и назвал Элли «барыня». Чемоданы же понес через площадь к вокзалу.

— Глеб, это Петербург, я тебе говорю... Смотри, что за здания. Это же вроде нашего Сената. Только памятника Петру нет. И вон там собор... конечно, Исакий больше, а всё-таки...

Но если и Петербург, то совсем молчаливый, еще более, чем их носильщик. Глеб и Элли смеялись и радовались. Им нравился этот новый для них народ, частью с отголоском Империи, но вообще очень современный, необычно тихий, необычно — после Парижа — чистый.

Все ходили тут никуда не спеша, не толкаясь и не болтая. На огромном вокзале в духе северного модерн Глеб и Элли сидели в зале, поджидая поезд. Как елисейские тени проходили через залу обитатели этой страны, на загадочном своем языке загадочно произносили иногда — очень редко, негромко — нечто никому непонятное. И всё тонуло в великом молчании.

Старушка с длинной палкой и каким-то приспособлением на конце ее бесшумно проходила по зале, довольно пустынной, подбирала машинкой бумажки, окурки: их вообще почти нет, но надо, чтобы и вовсе не было.

Бесшумно подали поезд, неторопливо пошли финские тени занимать места. Непривычные русские, всегда склонные переспросить: «Так это поезд на Выборг? — и получить в ответ тихое: «Ви-ипури» — тоже безмолвно, как в немом синема, заняли без затруднения места.

Во время свистнув, паровоз повез финский поезд в сторону России, по берегу моря, дикими лесами, хво-

ей и березовыми рощами, в вольном благоухании летней страны. На остановках Элли высовывалась в окно и не по-фински громко, восторженно говорила:

— Глеб, ты понюхай! Это лес, это наш лес! Глеб, даже земляничкой пахнет, Россия...

***

Сима устроила Глеба и Элли в русском пансионе у моря. Был это большой дом с мезанином — просторный, с нехитрой обстановкой, но с тем духом прежней России, от которого отвыкли они в Париже.

В мезанине две светлые и просторные комнаты, одна окнами в лес, другая в цветник и на лужайку, за нею дорога и сквозь финские сосны узкий кусок моря. Поскрипывающая лестница вниз, там огромные сени, обширные комнаты, населенные русскими на отдыхе из Гельсингфорса или Выборга. Большая столовая, стеклянная терраса, прямо в цветник выходящая. Это, может быть, всё, что угодно, только уж не Париж.

Утра Глеба были так светлы, как эти ясные дни июльской Финляндии. Кофе им подавали сюда. За столом у дивана они быстро пили его, потом Элли уходила наверх, по лесистому взгорью, мимо станции железнодорожной на дачу к Симе. Глеб же садился за свой письменный стол, погружался в спокойные, многолетние уже занятия. Необычайная тишина и глубокое, как бы подземное соответствие всему действовали хорошо. Он чувствовал себя в ритме, тоне всей той русской природной жизни, которая произвела и его и Элли, Таню (ныне уехавшую с молодежью под Тулон), в некоем лоне, где его связь с землей, лесами, птицами, зверями и людьми являлась первообразной. И питала, и одушевляла.

Элли же эти утренние часы проводила на даче Симы, чаще всего среди роз ее сада, близ небольшого водоема со светло-зеленоватой водой.

— Да, вот представь себе Элличка, как довелось встретиться, — говорила Сима — высокая, легкая в движениях, приветливо улыбаясь довольно широким лицом с карими глазами: если бы ведь не кончина Геннадия Андреича, я бы так ничего о тебе и не узнала... И твоего Глеба никогда не увидела бы. Вот как всё удивительно выходит.

Сима была права. Жизни их некогда шли очень близко — ребенком жила одно время Сима с овдовевшею матерью на Земляном валу, весь колесниковский мир с детством ее тесно связан, а потом пути разошлись. В Петербурге Сима вышла замуж и вошла в богатый полунемецкий промышленный круг, муж приобрел эту дачу в Финляндии, куда в революцию и переселился. Здесь же и умер. Сима осталась одна, но по общительному своему нраву, обращенному к людям добротой, никогда в одиночестве не пребывала: всегда гнездились вокруг и друзья, полудрузья и опекаемые, и бездомные. Сима любила помогать. Давала это легко и спокойно, без подчеркивания, но с тем здравым и практическим смыслом, который всегда был в ней: колесниковская кровь — ее бабушка была теткой Геннадия Андреича. И теперь Сима мирно процветала на своей даче, в десяти верстах от границы бывшей Российской Империи, деля время между хозяйством (всё на даче сияло и блестело), заботами о людях и розах, прогулками: у нее был такой взгляд, что она должна всегда двигаться, как можно больше ходить: это полезно для здоровья и самой нравится. Потому и встречали ее постоянно летом в шерстяной белой накидке и белой шляпке, зимой в лисьей шубке, быстрой походкой проходящей то по взморью, то вдоль рельс железной дороги, то в сосновых лесах по шоссе к Вы-

боргу. Можно было считать ее неким легким духом местности.

После утренних дел Глеб любил в одиночестве выходить перед завтраком на прогулку. Обычно шел по шоссе к России. Сквозь редкие сосны виднелся направо пляж, бледное море, вдали, сквозь зеркальный туман, неясные пятна — Кронштадт. На приморском песке кой-где русские, некоторые смотрят в бинокль: за полуденным маревом над бесцветной водой Родина. Почти нет таких, у кого не осталось бы там близких. У Симы тоже в России сестра — Наталия. И таких нет, кто спокойно и равнодушно рассматривал бы с прибрежья тот край. (Слез же изгнаннических, капавших иногда на песок, не считал никто).

Слева начинались леса, уходившие в глубь страны, подымавшиеся по взгорью. Тут попадались старые дачи, иногда обитаемые, а то и заброшенные, в заброшенности своей молчаливо говорившие о былом. Как просторно жили! Деревянный дом в два этажа с десятком комнат, застекленные балконы и террасы, иногда в разноцветных стеклышках — половина окон выбита, в комнатах пустота и паутина.

Глеб любил забредать в этот финско-российский лес, просто слоняться в нем, вдыхать неповторимый горько-пряный его аромат, с легким грибным духом, иногда вдруг с запахом покоса на лужайке. Он считал птиц друзьями, его друг была и белочка, мохнатая и смешная, шурша, невесомо возносившаяся по красноватому стволу сосны — оттуда, в безопасности помахивавшая хвостом, казавшимся могущественней, чем она сама. (Теперь он не застрелил бы ее, как некогда, ребенком, в Будаках!).

Особый друг у него считался дятел на грибной поляне близ полуразрушенной огромной дачи. Это место было странно и отчасти таинственно. Глеб любил заходить сюда, садиться на поваленную березку, слу-

шать дятла. Дятел не боялся его. С удивительным упорством выстукивал по стволу, медленно подымаясь всё выше, потряхивая пестро-красной грудкой, погружая Глеба в легендарный туман детства, когда такие же русские дятлы с такими же грудками выстукивали напевы свои в лесах Устов, в разных Сопелках, Чертоломах. Иногда Глеб смеялся и говорил ему: «Ну, как у тебя голова не заболит?» — старался представить, что произошло бы, если бы вот его, Глеба заставили целый день так стучать носом в дерево. «Видно, братец ты мой, лоб-то у тебя медный». Когда громко произносил это, дятел оглядывался, на минуту замолкал или на всякий случай перелетал — неверным, ныряющим полетом — на соседнюю сосну, продолжал там свою деятельность. В конце концов, она и культурна: очищал дерево от жучков, насекомых. Возвращали в детский мир и грибы — перед этой дачей было их особенно много, Глеб захватывал даже для них кошелку. Выбирая из земли тугие, в сырости и прохладе возросшие средь прошлогодних листьев боровики, любовался атласно-златистой подкладкой их, крепкой, налитой ножкой, матово-коричневым шеломом... — и всё пахло таинственными земными недрами.

А сама дача представляла мир иной. Глеб и к ней подходил, а однажды влез даже, сквозь разбитое окно внутрь, и как в огромном склепе прошелся по пустым, гулким комнатам. Поднялся во второй этаж — паутина висела в углу целым парусом. Некогда покачивалось тут на веревке тело странного персонажа пред-революции Гапона, заманенного сюда и тут же революционерами повешенного.

...К завтраку Глеб возвращается. Те же цветы в цветнике, стеклянная терраса, огромная столовая, русский говор. Из раскрытого окна пахнет покосом.

* * *

По вечерам ходили наверх к Симе, в тихо сиявшую чистотой дачу, погружались в особый ее уют и приветливость.

Или дома Глеб перечитывал — в который уже раз! — «Анну Каренину». Некогда при той же лампе-молнии, с такими же наивными выпуклыми украшениями на резервуаре готовил он в Калуге уроки гимназистом, и освещение казалось слепительным. Теперь читал, поднося книгу к самому свету, и улыбался про себя, но и эта лампа, и пансион, и Сима, постоянно вспоминавшая мелочи Земляного вала, и сама «Анна Каренина» неотрывно уводили в былое.

Бабочки налетали на лампу из отворенного окна, настурции на подоконнике пестрели в свете ее и на черном фоне ночи прожекторы над Кронштадтом проводили сияющие лучи. Левин выходил на покос и состязался с косарями, всё там же в Тульской губернии, в шестидесяти верстах от Прошина, где молоденьким студентом Глеб сам косил и навивал с девками возы. А сейчас в окно тянуло тем же самым сеном. Лужайку перед цветником только что скосили. На другой день будут трясти сено, и Элли тоже возьмет грабли, даже Глеб, посмеиваясь, будет помогать финну, барышням и какому-то работнику.

А вот тележка запряжена, он за кучера, сзади Элли и молодая дама из пансиона. Едут за несколько верст — на русскую границу.

Запах ременных возжей, песчаные колеи, сосенки, мрачный еловый лес, похлопывание возжей по вспотевшей спине меринка — огод устроился на ней, нуж-

но согнать... — что это, собрались с отцом на Касторас за тетеревами?

Лошадь привязывают в укромном месте, накрывают попоной от оводов, пешком, точно на тайное дело, пробираются к полянке. Там уже несколько русских. Некоторые с биноклями.

Внизу склона речка, извивами, в ольхах, как все речки русские: это граница. Таинственная черта, отделяющая от тебя твое же. Неизвестно, кто там. Говорят, речку стерегут. Говорят, из кустов могут выскочить и увести... — мало ли что еще говорят, но бесспорно, что и там где-то оберегают ее, и здесь на сторожевых пунктах сидят низкорослые финские вояки.

Но пока что никто никого не умыкает, никакой стрельбы нет и от речки вверх идет ровным подъемом луг, дальше виден посев, а левее не то дом двухэтажный, не то барак.

— Возьмите бинокль...

Глеб подносит его к глазам. Теперь ясно всё видно. Вот вышла баба, простая русская баба, каких море видел он на своем веку. Хворостиной подгоняет корову. На бараке что-то вроде вышки, над ней флаг.

— Это наблюдательный пункт ихний, — говорит сосед. — Нас оттуда, наверно, тоже рассматривают. А баба, не думайте, это не здешняя. Всю пограничную полосу выселили — тут жили карелы. Их загнали подальше, вглубь, а сюда навезли русских из других мест.

Облака плывут медленно по бледному небу. Но тепло. Припекает скупым финским солнцем. Из России тянет покосом.

***

Сима и Элли подходят к просеке, спускающейся к пансиону.

— Нет, понимаешь, я ведь помню столько мелочей из жизни вашего дома на Земляном валу. И дядю Карлушу с его Данте, и Маркана... А то вот, например, тетя Агнесса была в концерте и рассказывала потом. Играл Антон Рубинштейн. И ведь он такой был могучий пианист, кроме того, что гениальный, еще очень сильный... Под его ударом лопнула струна, но ничего, тут же пересел за другой рояль, его силу знали, иногда ставили рядом запасный. Я отлично помню.

Обе засмеялись. Подходили к спуску, широко раскрылось из-за леса бледно-сиреневое море. Сима остановилась. Ветер играл прядями ее волос, белая накидка слегка отлетела. Немолодое, загорелое лицо сияло всегда живыми, карими глазами.

— Элличка, мой друг, всё это прошлое, и всё — Россия. Вон там Кронштадт, за ним Ораниенбаум, мы жили тоже там, а левей Петербург. И там где-то моя сестра Наталия... Ты понимаешь, понимаешь, вот близится день свв. Адриана и Наталии, я посылаю ей посылку и всё хочется, чтобы скорей дошла, прямо бы к именинам.

Элли тоже была взволнована. Да, Петербург, а за ним дальше ведь и Москва, где жива еще мать, сестры, где прошла молодость, где она встретила Глеба и соединились жизни их. Вот живут они здесь, вдыхают Россию, как бы прощаются и с ней и с самым дорогим, что было в ней. Недолго уж прощаться. Время идет, осень близится. Скоро Таня вернется в Париж, пора...

— Ты понимаешь, быстро говорила Сима, когда они спускались по тропинке вниз — день Адриана и Наталии — день и русской страды — Бородинский бой. Сколько полегло наших... А само житие св. Наталии? Ты его помнишь?

Сима воспламенялась.

— Для меня это с сестрой связано. А как в житии-то написано? Наталия давно была христианка, а муж

нет. Он какой-то выходил вроде судьи или начальника, как раз христиан преследовал. И как нередко случалось тогда, сам же при этом и обратился. Ну, его и взяли. А Наталия его ободряла...

Когда они сошли вниз, Сима не могла уже идти дальше, остановилась, в волнении продолжала о том, как мужа Наталии допросили и отпустили, как он возвратился домой, но Наталия, думая, что он отрекся от Христа, приказала ему идти вновь в темницу.

— Ты пойми, ведь она его обожала. Он был самый дорогой для нее человек, но какая сила... именно если обожаемый, то и должен быть героем... а не отступником. Да он и не отступался, это было недоразумение, она ошиблась. Всё равно, он опять попал в тюрьму, и на этот раз уже как следует...

И перебивая себя, почти задыхаясь от возбуждения, Сима рассказывала о том, что происходило чуть не две тысячи лет назад с такой горячностью, будто вчера пережила всё это, будто сама видела — главное мучение Наталии в том-то и состояло, что на ее глазах потом истязали любимого человека, а она его ободряла и поддерживала, чтоб не отрекался, значит, чтобы больше его еще мучили.

— А он, наверно, я уверена, только и говорил, или кричал: «Свет, свет! Христос, Тебя люблю, к Тебе иду!». Элличка, я уверена, что мучеников поддерживает именно любовь... Такой вот восторг. Иначе нельзя выдержать, но это Богом и посылается. А Наталии было труднее, потому что она и сама мучилась за любимого человека. Ее-то, в конце концов, тоже замучили.

Сима вдруг приостановилась и смолкла. Как будто усталость и тишина прошли по ней.

— Да, свет, — сказала тихо. — Всё дело в свете.

Она вынула платочек и обтерла лицо.

— Элличка, ты родная мне по крови и вообще единственная близкая, оставшаяся здесь. Могила брата

тут на кладбище, около озера, там в лесу. Мы пойдем туда с тобой, и скоро это сделаем, а то вы уедете. А в живых одна сестра Наталия, но та в России... я о ней вспомнила и разволновалась.

— Понимаю, — тихо сказала Элли. — У меня в России мать и сестры, и я никогда их не увижу.

Обе замолчали, не сговариваясь двинулись. Дальше шли молча. У калитки пансиона Сима улыбнулась и кивнула Элли. Легким, быстрым шагом, вновь как бы окрыляемая, в развевающейся белой мантильи, оттенявшей загар лица, зашагала по шоссе к Выборгу.

Элли же в задумчивости проходила темной аллеей елок к себе в пансион. Сени были пустынны. Жильцов сейчас никого дома. У них в мезанине так же сияли на узком балкончике многоцветным огнем настурции. Солнце послеполуденное светило мягко. В комнате Элли, на столике под иконой лежали реликвии: коробочка с московской землей и флорентинской, образок Николая Чудотворца и Евангелие. С недавнего времени, после смерти Геннадия Андреича, на первой пред текстом пустой странице, рукою Элли, как всегда торопливо и неосновательно было написано: «Мой папа на смертном одре велел читать главу 6-ю Луки Евангелиста».

Она обернулась и в комнате Глеба, на столе с пестрой скатертью увидела вдруг письма — их подали в ее отсутствии. На одном конверте сразу узнала почерк Тани и схватила его.

Таня вернулась уже в Париж с юга, и пока жила дома одна. Поездкою очень довольна ждет их возвращения.

— «Дорогие мои», — писала она: «есть и печальные вести. Проездом в Америку, куда его посылают по каким-то инженерским делам, был здесь муж Сони, Мстислав Казимирович, заходил к нам. Такой нервный, всего боится и всё лечится, хотя вид у него цветущий.

Рассказывал о последних днях бабушки, с большим почтением к ней. Он очень горячо и длинно рассказывает, но всё-таки это ужасно: представь, у них там арестовали близко знакомого им священника, их жилицу, еще других, и нашу Ксану. Всех будто бы за участие в каком-то тайном религиозном кружке. Священника сослали, жилицу тоже, а Ксану продержали сколько-то, а потом выпустили, но она теперь лишенка. — Ты подумай, какой ужас! Моя подруга Ксана...».

Дверь отворилась. Вошел Глеб. Элли сидела бледная.

— Элли, что с тобой? Что ты на меня так странно смотришь?

Увидев письмо Тани, Глеб сам побледнел:

— Таня?

— Нет, слава Богу... Благополучна. Ждет нас. Но вот... ты увидишь.

И она протянула ему письмо.

***

Глеб лежал на песке, подперев голову руками. Было тихо, солнечное утро. Нынче он не работал в своем мезанине. Всё кончалось. Завтра уезжают, Элли укладывается, всё перебуравлено. Опять Гельсингфорс, опять долгий путь на «Ариадне».

Финский бледный залив был зеркален. Вода чуть плескалась. Как пустынно! Леса вокруг, а вдали, над светло-сиреневой гладью, узкая полоса как бы стеклянного мрения — чуть колышется, переливается, над ней смутные силуэты, будто дома. В одном месте более темное куполообразное пятно. Глеб берет бинокль, всматривается. Кронштадт, Андреевский Собор. Порт, вдали направо должен быть маяк, бороздящий золотым снопом тишину финской ночи. Отсюда отплывал

фрегат «Паллада», тут проповедывал Иоанн Кронштадтский, тут же убивали офицеров, еще позже убивали красных матросов — в их же восстании. А всё вместе называется Россия.

Сзади подходила Элли. Он узнал ее быстрые шаги и обернулся. Высокая и стройная, в большой летней шляпе, она легко шла по песку взморья. Глеб слегка улыбнулся. «Всё такая же... в Москве, Париже, Италии».

— Ну, вот, я так и знала, что ты тут.

Лицо ее было озабочено.

— Не могу найти ключа от чемодана. Всё уложено, завтра ехать, а ключа нет.

Глеб сел, отряхнул песок с брюк и запустил руку в карман.

— Ключ у меня в портмоне, вот он...

— Ах, слава Богу! Значит, завтра с утра... Хозяин дает для вещей тележку, русские все пойдут провожать.

Она замолчала и тоже села на песок. Лицо ее стало серьезнее и покойнее.

— Я рада домой ехать и видеть Таню, но мне здесь было хорошо. Жаль уезжать.

— Да, — сказал Глеб — и мне жаль. И мне было хорошо. Очень было тут мирно и светло, и даже когда грустно, тоже хорошо.

— И Сима жалеет, что мы уезжаем. Она вчера уж так много ходила... уж очень много. Это у нее признак волнения.

Глеб встал.

— Да, так-то вот нам и странствовать с тобой по свету. Так-то и жить милостью Божьей. Много видели, много пережили, а вот еще, слава Богу, не лишенцы... Ах, Ксана, Ксана!

Элли опустила голову.

— Не говори. Из головы не выходит. А те, сосланные? Все эти Соловки, Мурмански?

Оба замолчали и поникли. Точно бы дыханье преисподней вдруг прошло по ним. Элли очнулась первая.

— Смотри, Сима идет к нам.

По самому краю прибрежья, совсем у воды, в белой накидке, с зонтиком, в белых туфлях быстро шла, в направлении к ним Сима. Увидев их, вынула белый платочек и высоко подняв над головой, помахала. Элли ответно салютовала.

— Два дружественных корабля приветствуют друг друга в море, — сказал Глеб, улыбаясь.

И они пошли навстречу Симе.

Борис Зайцев

Май, 1952.

О Г Л А В Л Е Н И Е

	Стр.
От Редакции	5
Последняя Москва	7
Земляной вал	25
Берлин	49
«Kennst Du das Land...»	64
Тишина Барди	80
Прошино	105
Летопись Земляного вала	120
Малая летопись Плющихи	142
Продолжение в Париже	157
Геннадий Андреич	166
Путешествие Глеба	188

Printed in U. S. A.
RAUSEN BROS.
417 Lafayette Street
New York 3, N. Y.